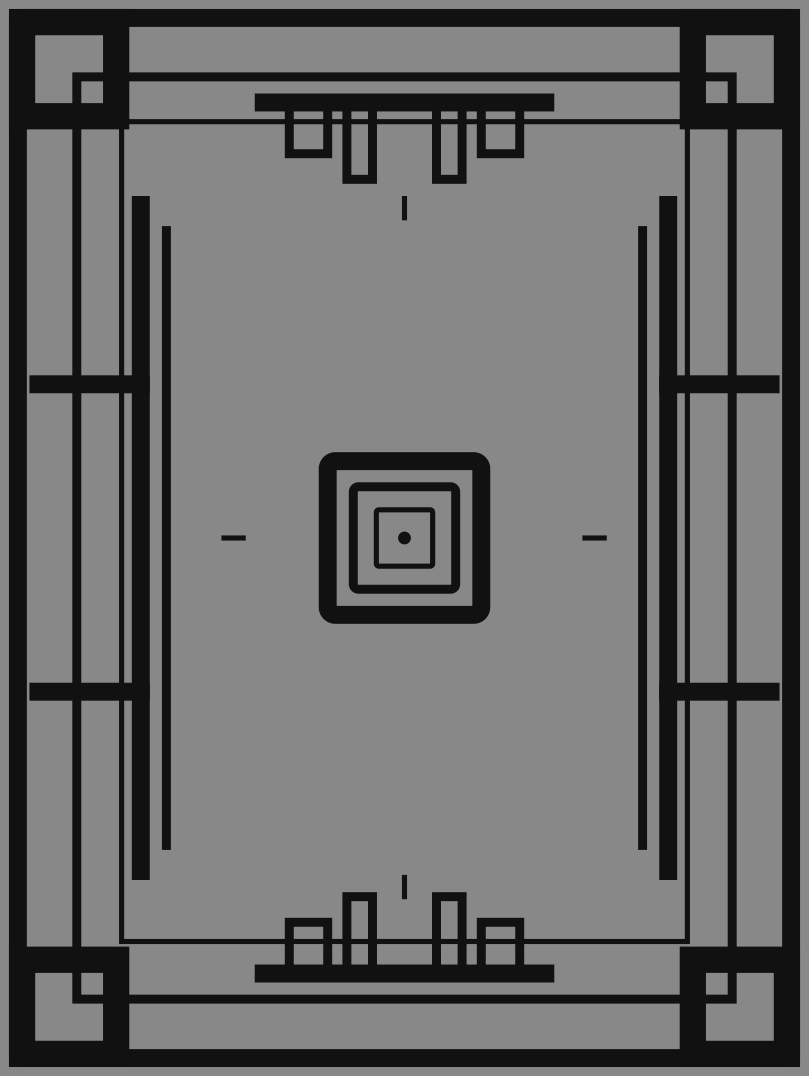


Книга Мерлина
Теренс Хэнбери Уайт

Теренс Хэнбери Уайт. Книга Мерлина
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Теренс Хэнбери Уайт
Книга Мерлина

Incipit Liber Quintus [1]

Он немного подумал, а после сказал: «Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сады.

Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях...»

---

[1] Примечания: 1
Начинается пятая книга

1

Нет, это не был епископ Рочестерский.

Король отворотился от новопришедшего, не интересуясь его персоной. Слезы, тяжело катившиеся по обвислым щекам, заставляли его стыдиться своего вида, но он чувствовал себя слишком подавленным, чтобы их утирать. Неспособный на большее, он лишь упорно прятал лицо от света. В его теперешнем состоянии уже не имело смысла скрывать старческое горе.

Мерлин присел рядом с Артуром и взял его изможденную руку в свои, отчего слезы полились лишь обильнее. Волшебник гладил его по ладони, прижимая большим пальцем синеватые вены, ожидая, когда в них снова воскреснет жизнь.

— Мерлин? — спросил Король.

Казалось, он не удивился.

— Ты мне снишься? — спросил он. — Прошлой ночью мне снилось, будто пришел Гавейн с целой командой прекрасных дам. Он сказал, что дамам дозволили сопровождать его, так как при жизни он был их избавителем, и что они пришли предостеречь меня, ибо завтра все мы погибнем.

А после того мне приснилось, что я сижу на троне, привязанном наверху колеса, и колесо поворачивается, а я лечу в яму, полную гадов.

— Колесо свершило свой оборот: я снова с тобой.

— А ты какой сон — дурной? — спросил Король. — Если так, не мучай меня.

Мерлин все так же держал его за руку. Он поглаживал ее вдоль вен, стараясь заставить их спрятаться в плоть. Он умягчал шелушистую кожу, в мистической сосредоточенности вливая в нее жизнь, понуждая ее вновь обрести упругость. Кончиками пальцев касаясь Артурова тела, он пытался вернуть ему гибкость, облегчая ток крови, возвращая силу и ладность опухшим суставам, и молчал.

— Нет, ты добрый сон, — сказал Король. — Хорошо бы, ты мне снился подольше.

— Да я никакой и не сон. Я человек, тот самый, которого ты помнишь.

— Ах, Мерлин, сколько бед случилось со мной с тех пор, как ты нас покинул! Все труды, на которые ты подвигнул меня, оказались напрасными. Вся твоя наука — обманом. Ничего этого делать не стоило. Нас забудут, и тебя, и меня, словно нас и не было вовсе.

— Забудут? — переспросил волшебник. В свете свечи было видно, как он, улыбаясь, озирает шатер, словно желая убедиться в истинном существовании его убранства — мехов, мерцающей кольчуги, гобеленов, пергаментных свитков.

— Жил когда-то Король, — произнес он, — о котором писали Ненний и Гальфрид Монмутский. Говорят, что последнему помогал кое в чем архидиакон Оксфордский и даже этот восхитительный олух, Гиральд Валлиец. Брут, Лайамон и вся остальная шатия: сколько вранья они наворотили! Одни уверяли, что он был бриттом, размалеванным синей краской, другие, — что он в угоду сочинителям норманнских романов красовался в кольчуге. Кое-кто из бестактных германцев облачал его на манер своих занудливых Зигфридов. Одни, вроде твоего приятеля Томаса из Хаттон-Коннерс, одевали его в серебро, другие же,

— замечательно романтический елизаветинский автор по имени Хьюгс, к примеру, — узрели в его истории замечательную любовную коллизию. Затем еще был слепой поэт, норовивший растолковать человечеству пути Господни, этот сравнивал Артура с Адамом, пытаясь понять, который из двух важнее. Примерно а то же время

появились великие музыканты — Перселл, к примеру, а еще позже такие гиганты, как Романтики, и все они непрестанно грезили о нашем Короле. За ними явились люди, давшие ему доспехи, подобные листьям плюща, и поставившие его с друзьями посреди развалин, где ежевика, разрастаясь, овивала их своими плетьми, и они в обморочном трансе падали наземь, стоило лишь легкому ветерку коснуться их губ. Потом еще был один викторианский лорд… Даже людям, вроде бы никаким боком к нему не причастным, и тем было до него дело, — тому же Обри Бердслею, создавшему иллюстрации к рассказу о нем. А несколько времени погодя объявился и бедный старина Уайт, полагавший, будто мы с тобой воплощали идеи рыцарства. Он уверял, что наше значение кроется в нашей порядочности, в том, как мы противостояли кровожадным помыслам человека. Каким же анахронистом он был, бедолага! Это ведь умудриться надо — начать с Вильгельма Завоевателя и кончить Войнами Алой и Белой Розы… И еще были люди, обращавшие «Смерть Артура» в разного рода непостижимые колебания, вроде радиоволн, и другие, обитавшие в неоткрытом полушарии и тем не менее почитавшие Артура и Мерлина,

которых знали по движущимся картинам, чем-то вроде своих незаконных отцов-основателей. Дело Британии! Разумеется, нас позабудут, Артур, если считать мерой забвения тысячу лет да еще полтысячи, да еще одну тысячу к ним впридачу!

— А Уайт это кто?

— Человек, — рассеянно ответил волшебник. — Ты вот посиди, послушай, а я прочитаю тебе кусочек из Киплинга. — И старик с воодушевлением продекламировал знаменитое место из «Холма Пука»:

— «Я видел, как сэр Гюон с отрядом своих челядинцев выступил из Замка Тинтагиль в сторону Ги-Бразиля, встретив грудью юго-западный ветер, и брызги летели над замком, и Кони Холмов теряли разум от страха. Они вышли в минуту затишья, крича тоскливо, как чайки, и шторм отнес их от моря на добрых пять миль, прежде чем им удалось повернуться ему навстречу. То была магия — самая черная, на какую только способен был Мерлин, и море пылало зеленым огнем, и в белой пене пели русалки. А Кони Холмов под вспышками молний неслись с волны на волну! Вот что творилось здесь в давние времена!»

— Вот тебе только одно описание, — добавил волшебник, закончив цитату. — В прозе. Не диво,

что Дан под конец закричал: «Восхитительно!» И сказано все это о нас и о наших друзьях.

— Но, учитель, я не понимаю.

В растерянности глядя на своего престарелого ученика, волшебник встал. Он перевил бороду в крысиные хвостики, засунул их кончики в рот, подкрутил усы, похрустел суставами пальцев. То, что он сотворил с Королем, наполняло его страхом, ему казалось, что он пытается искусственным дыханием оживить человека, пожалуй, слишком долго пробывшего под водой. Однако, стыда он не испытывал. Ученый и должен без жалости продвигаться вперед, преследуя единственную в мире вещь, имеющую значение,

— Истину.

Чуть погодя, он позвал, — негромко, словно окликая уснувшего:

— Варт?

Никакого ответа.

— Король?

На этот раз он услышал ответ — горький ответ:

— Le Roy s'advisera.

Все оказалось даже хуже, чем опасался Мерлин. Он снова сел, снова взял вялую руку и заново стал обхаживать Короля.

— Давай-ка попытаем счастья еще раз, — по-

просил он. -Нас ведь пока не разбили наголову.

— Что проку от этих попыток?

— Такое у человека занятие — делать попытки.

— Значит, люди — попросту остолопы.

Старик ответил со всей прямотой:

— Разумеется, остолопы да впридачу еще и злые. Тем-то и интересны старания сделать их лучше.

Жертва чародея открыла глаза и устало закрыла их снова.

— Мысль, посетившая тебя перед самым моим приходом, справедлива, Король. Я имею в виду мысль о Homo ferox. Однако и соколы тоже ведь ferae naturae: и это в них самое любопытное.

Глаза оставались закрытыми.

— А вот другая твоя мысль, насчет… относительно того, что люди — машины, вот она неверна. А коли и верна, то это ведь ничего не значит. Потому что, если все мы — машины, то не о чем и тревожиться.

— Вот это мне понятно.

Странно, но он и вправду это понял. Глаза его открылись, да так и остались открытыми.

— Помнишь ангела в Библии, готового пощадить целый город, если в нем отыщется хотя бы единый праведник? И ведь не один отыскался. То

же относится и к Homo ferox, Артур, даже сейчас.

В глазах, неотрывно глядевших на маячившее перед ними видение, возникло подобие интереса.

— Ты слишком буквально воспринял мои советы, Король. Неверие в первородный грех вовсе не подразумевает веры в первородную добродетель. Оно подразумевает лишь, что не следует верить в абсолютную порочность человека. Человек, быть может, порочен и даже очень порочен, а все же не абсолютно. В противном случае, согласен, любые попытки бессмысленны.

Артур произнес, расплывшись в одной из своих ясных улыбок:

— Да, это хороший сон. Надеюсь, он окажется длинным.

Его учитель стянул с носа очки, протер их, снова надел и внимательно оглядел старика. За стеклами очков поблескивало удовлетворение.

— Если бы ты, — сказал он, — не пережил всего этого, ты бы так ничего и не понял. Никуда не денешься, знание — вещь наживная. Ну, как ты?

— Бывает и хуже. А ты?

— Отменно.

Они обменялись рукопожатием, как если бы только что встретились.

— Побудешь со мной?

— Вообще-то говоря, — отвечал некромант, звучно сморкаясь, чтобы скрыть ликование, а может быть и раскаяние, — мне и находиться-то здесь не положено. Я просто послан к тебе с приглашением.

Он сложил носовой платок и сунул его под шляпу.

— А мыши? — спросил Король, и глаза его в первый раз чуть заметно блеснули. На секунду кожа у него на лице дрогнула, натянулась, и под нею, быть может, в самых костях, проглянула конопатая, курносая физиономия мальчишки, которого когда-то давно очаровал Архимед.

Мерлин с удовольствием стянул с головы колпак.

— Только одна, — сказал он. — По-моему, это была мышь, хотя теперь уже толком не скажешь, усохла наполовину. Глянь-ка, а вот и лягушка, я еще летом ее подобрал. Она, бедолага, попала во время засухи под колеса. Силуэт — само совершенство.

Он с удовлетворением ее обозрел, прежде чем сунуть обратно в шляпу, затем уложил ногу на ногу и, поглаживая колено, с таким же удовлетворением обозрел ученика.

— Итак, приглашение, — сказал он. — Мы надеялись, что ты нанесешь нам визит. Битва твоя, полагаю, как-нибудь обойдется без тебя до утра?

— Во сне это не имеет значения.

Видимо, это замечание рассердило волшебника, ибо он гневно воскликнул:

— Послушай, перестань ты все время твердить о снах! Нужно же все-таки хоть немного уважать чувства других людей.

— Не обращай внимания.

— Да, так вот, — приглашение. Мы приглашаем тебя посетить мою пещеру, ту самую, куда меня засадила молодая Нимуя. Помнишь ее? Там собрались кое-какие друзья, ждут тебя.

— Это было бы чудесно.

— К сражению у тебя, насколько я знаю, все подготовлено, а заснуть ты все равно навряд ли заснешь. И может быть, если ты погостишь у нас, на душе у тебя полегчает.

— Совершенно ничего у меня не подготовлено, — сказал Король, — но в сновидениях так или этак, а все как-то устраивается.

При этих словах старый господин выскочил из кресла, цопнул себя за лоб, словно подстреленный, и воздел к небесам палочку из дерева жизни.

— Силы благие! Опять эти сны!

Величавым жестом он сорвал с себя остроконечную шляпу, пронзил взглядом бородатую фигуру насупротив, с виду такую же старую, как он сам, и — в виде восклицательного знака -треснул себя палочкой по макушке, И полуоглушенный, ибо не расчитал силу удара, — снова упал в кресло.

Старый Король наблюдал за Мерлином, и душа его согревалась. Теперь, когда давно утраченный друг столь живо снился ему, он начинал понимать, почему тот вечно и совершенно сознательно валял дурака. Шутовство было приемом, посредством которого он облегчал людям учение, позволяя им, и учась, не утрачивать ощущение счастья. Король начинал испытывать симпатию, и даже не без примеси зависти, к старческой отваге своего наставника, способного верить и не оставлять стараний, причудливых и бесстрашных, — и это с его-то опытом и в его летах. От мысли, что доблесть и стремление к благу все же способны выстоять, на душе становилось светлее и легче. С облегченным сердцем Король улыбнулся, закрыл глаза и заснул — по-настоящему.

3

Ощущения от лечебной процедуры приятностью не отличались. Примерно такие же возникают, когда волосы с силой расчесываешь «против шерсти», или когда массажист самой неприятной разновидности, из тех, что пристают к пациенту с требованием «расслабиться», вправляет вывихнутую лодыжку. Король вцепился в подлокотники кресла, стиснул зубы, закрыл глаза, и покрылся потом. Когда он во второй раз за эту ночь открыл их, окружавший его мир разительно переменился.

— Благие небеса! — воскликнул он, вскочив на ноги. Покидая кресло он перенес свой вес не на запястья, как это делают старики, но на ладони и кончики пальцев. — Ты только взгляни, какие глубокие глаза у этого пса! Свечи отражаются в них не от поверхности, а от самого дна, будто от донышка кубка. Почему я этого прежде не замечал? А там, смотри, в купальне Вирсавии дырка протерлась, не грех бы ее заштопать. И что это там за слово в книге? Susp.? Кто же это унизил нас так, что мы стали вешать людей? Разве за-

служивает того хотя бы один человек? Мерлин, а почему, когда я ставлю между нами свечу, свет не отражается в твоих глазах? В лисьих глазах отсвет красный, в кошачьих зеленый, у лошади желтый, у пса шафранный… А посмотри, какой у сокола клюв, там же зубчики, как на пиле! У ястреба с пустельгой таких не бывает. Должно быть, это особенность falco. И как странно устроен шатер! Одно толкает его вверх, другое тянет книзу. Ex nihilo res fit

. А шахматные фигуры, ты только взгляни! Мат, видите ли! Ну нет, мы начнем игру заново…

Вообразите заржавелый засов на садовой калитке, — то ли его поставили косо, то ли калитка обвисла с тех пор, как его привинтили, но вот уже многие годы засов не встает толком на место, приходится его либо вбивать, либо втискивать, немного приподымая калитку. Вообразите теперь, что этот старый засов отвинтили, отдраили наждаком, выкупали в керосине, отшлифовали тонким песочком, основательно смазали, и затем искусный мастеровой снова приладил его да так, что засов ходит туда-сюда, подчиняясь нажатию пальца, — что там пальца, перышка! — на него достаточно дунуть, чтобы он открылся или закрылся. Представляете, что он испытывает? Он

испытывает блаженство, как человек, поправляющийся после горячки. Он только и ждет теперь, чтобы его подвигали, он жаждет насладиться приятнейшим, неизменно исправным движением.

Ибо счастье — это лишь побочный продукт осуществленного предназначения, как свет — побочный продукт электрического тока, бегущего по проводам. Если ток не проходит, не будет и света. Потому-то и не достигает счастия тот, кто ищет его для себя одного. Человеку же довлеет стремиться к тому, чтобы стать подобным исправно скользящему засову, току в его беспрепятственном беге, выздоравливающему больному, которому жар и головная боль так долго не позволяли даже двинуть глазами, — а ныне они без устали трудятся, двигаясь с легкостью чистых рыбок в чистой воде. Глаза работают, работает ток, работает засов. Загорается свет. Вот в этом и счастье: в безупречно выполненной работе.

— Легче, легче! — сказал Мерлин. — Мы, вроде бы, на поезд не опаздываем.

— На поезд?

— Виноват. Это цитата, к которой один мой друг частенько прибегал в разговорах о прогрессе

человечества. Ну-с, судя по твоему виду, чувствуешь ты себя получше. Может быть, сразу и отправимся в нашу пещеру?

— Немедленно!

И без дальнейших церемоний они приподняли полог шатра и вышли, оставив сонную гончую в одиночку сторожить накрытого клобучком сокола. Услышав шелест полога, незрячая птица, надеясь привлечь к себе внимание, хрипло заклекотала.

Прогулка их освежила. От буйного ветра и быстроты, с которой они передвигались, их бороды относило то за левое плечо, то за правое (в зависимости от того, какую щеку они подставляли ветру), и им казалось, что корни волос норовят вылезти из-под кожи, как бывает, когда накручиваешь локоны на папильотки. Они промчались равниною Солсбери, проскочили заставляющий призадуматься монумент Стоунхенджа, и Мерлин мимоходом прокричал приветствие древним богам, для Артура невидимым: Крому, Беллу и прочим. Словно вихрь, пронеслись они над Уилтширом, стороной миновали Дорсет, легко, как проволока головку сыра, пронизали Девон. Равнины, холмы, леса и болота пропадали у них за спиной. Реки, поблескивая, мелькали, как спи-

цы кружащего колеса. В Корнуолле, у древнего кургана, похожего на огромную кротовую кочку с темным входом в боку, они остановились.

— Входим.

— Я был здесь когда-то, — сказал Король, замирая, словно в оцепенении.

— Был.

— Когда?

— Ну, когда?

Король вслепую порылся в памяти, чувствуя, что истина скрыта где-то в его душе. Однако:

— Нет, — сказал он. — Не могу припомнить.

— Войди и увидишь.

Они прошли запутанными ходами, мимо ответвлений, ведущих к спальням, мусорным свалкам, кладовкам и местам, где можно помыть руки. Наконец, Король остановился, положив ладонь на дверную щеколду, и объявил:

— Я знаю, где я.

Мерлин ждал продолжения.

— Это барсучья нора, я был здесь ребенком.

— Верно.

— Мерлин, мерзавец ты этакий! Полжизни я оплакивал тебя, уверенный, что ты заперт, как жаба в норе, а ты все это время сидел в Профессорской, дискутируя с барсуком!

— А ты открой дверь и взгляни.

Король открыл дверь. Та самая, хорошо ему памятная комната. Те же портреты давно усопших прославленных благочестием или ученостью барсуков, те же светляки, экранчики красного дерева, доска, вроде качелей, для транспортировки графинов. Те же подъеденные молью мантии и тисненая кожа кресел. Но замечательнее всего: Король увидел давнишних своих друзей — тот самый комитет, нелепее коего и вообразить было нельзя.

Звери застенчиво встали, приветствуя его. Они пребывали в замешательстве и робели, частью оттого, что слишком долго предвкушали нынешний сюрприз, частью же оттого, что ни разу еще не встречали настоящего Короля и опасались, что он окажется совсем не таким как прочие люди. Как бы там ни было, решили они, а положенные формальности следует соблюсти. Все согласились, что приличия требуют, дабы они встали и, может быть, отдали поклон и почтительно улыбнулись. Они провели несколько совещаний, серьезно обсуждая, как надлежит титуловать Короля — «Ваше Величество» или «Сир», — а также следует ли целовать его руку. Они обсудили также вопрос о том, сильно ли он переменился и

даже — бедняжки — помнит ли он их вообще.

Звери кружком стояли у камина: барсук, в смятении поднявшийся из кресла, отчего с колен его на каминную решетку обрушилась истинная лавина исписанных листков; T. natrix, распрямившийся во всю длину и постреливающий эбеновым язычком, коим он намеревался, если понадобится, облизать королевскую руку; Архимед, в радостном предвкушении подскакивающий на месте, полураскрыв крылья и трепеща ими, словно пичуга, выпрашивающая корм; Балин, впервые в жизни имевший сокрушенный вид, ибо он боялся, что его-то и не вспомнят; Каваль, коего от полноты чувств стошнило в углу; козел, когда-то давно в пророческом озарении отдавший Артуру императорские почести; ежик, верноподданно застывший навытяжку в самом конце полукруга, — его по причине блохастости заставляли садиться отдельно, но и его переполняли патриотические чувства и желание быть замеченным, — конечно, если это возможно. Даже бывшее Артуру внове огромное чучело щуки, стоявшее под портретом Основателя на полке камина, и оно, казалось, вперяется в него умоляющим глазом.

— Ребята! — воскликнул Король.

Тут все они густо покраснели и засучили лапками и сказали:

— Пожалуйста, простите нас за столь скромный прием.

Или:

— Добро пожаловать, Ваше Величество.

Или:

— Мы хотели вывесить флаг, да куда-то он девался.

Или:

— Не промокли ли ваши царственные ножки?

Или:

— А вот и сквайр!

Или:

— Ах, как приятно видеть тебя после всех этих лет!

Ежик же церемонно откозырял и промолвил:

— Правь, Британия!

В следующую минуту помолодевший Артур пожимал всем лапы, всех целовал и хлопал по спинам, пока решительно все не прослезились.

— Мы ведь не знали… — всхлипнул барсук.

— Мы боялись, что ты мог забыть…

— А как правильно: «Ваше Величество» или «Сир»?

Вопрос был существенный и Артур добросо-

вестно ответил:

— Для императора — «Ваше Величество», а с обыкновенного короля хватит и «Сира».

Так что с этой минуты он стал для них просто Вартом, и больше они о титулах не помышляли.

Когда волнение улеглось, Мерлин закрыл дверь и решительно овладел ситуацией.

— Ну, так, — сказал он. — Дел у нас по горло, а времени на них всего ничего. Король, прошу тебя: вот твое кресло, на самом почетном месте, ибо ты среди нас — главный: ты делаешь черную работу и несешь основное бремя. А ты, ежик, — сегодня твой черед побыть Ганимедом, так что давай, тащи сюда мадеру да поскорее. Налей каждому по большой чаше, а потом мы начнем заседание.

Первую чашу ежик поднес Артуру и подал ее тожественно, встав на колено и окунув один грязноватый пальчик в вино. Пока он обносил по кругу всех остальных зверей, тот, кто некогда был Вартом, успел осмотреться.

Со времени его последнего визита Профессорская изменилась, причем изменения эти носили отчетливый отпечаток личности его наставника. Ибо на всех свободных креслах, на полу и на столах лежали тысячи книг самых разных обличий, раскрытых на страницах, содержавших

некие наиважнейшие сведения. Открытые для последующего осведомления, они так и остались лежать, и тонкий слой пыли уже успел осесть на их страницы. Тут были Тьерри, Пинноу и Гиббон, Сигизмунди и Дюрюи, Прескотт и Паркман, Жюссеранд и д'Альтон, Тацит и Смит, Тревельян и Геродот, настоятель Милман и Макалистер, Гальфрид Монмутский и Уэллс, Клаузевиц и Гиральд Камбрейский (включая утраченные тома об Англии и Шотландии), «Война и мир» Толстого, «Комическая история Англии», «Саксонские хроники» и «Четыре хозяина». Тут были «Зоология позвоночных» де Бира, «Опыты об эволюции человека» Эллиотта-Смита, «Органы чувств насекомых» Эльтрингама, «Грубые ошибки» Брауна, Альдровандус, Матфей Парижский, «Бестиарий» Физиолога, полное издание Фрезера и даже «Зевс» А.Б. Кука. Тут были энциклопедии, схематические изображения человеческого и иных тел, справочники, вроде Уидерби с описаниями самых разных птиц и животных, словари, логарифмические таблицы и полный выпуск «Национального биографического словаря». На стене висела начертанная рукой Мерлина таблица, параллельные столбцы которой содержали историческое описание расположенных в ал-

фавитном порядке народов, населявших Землю последние десять тысяч лет. Ассирийцы, шумеры, монголы, ацтеки и прочие, — каждый народ был прописан чернилами своего, особого цвета, а на вертикальных линиях слева от столбцов значились годы до и после н.э., так что получалось подобие диаграммы. На другой стене висела настоящая, еще более любопытная диаграмма, которая показывала возвышение и падение различных животных видов за последнюю тысячу миллионов лет. Когда вид вымирал, соответствующая ему линия сходилась к горизонтальной асимптоте и пропадала. Одним из последних эту участь претерпел ирландский лось. Сделанная для развлечения карта изображала расположение окрестных птичьих гнезд предыдущей весной. В наиболее даленном от камина углу комнаты стоял рабочий стол с микроскопом, под окуляром которого располагался замечательно выполненный микросрез нервной системы муравья. На том же столе лежали черепа человека, человекообразных обезьян, рыб и дикого гуся, также рассеченные, дабы видно было соотношение между корой головного мозга и полосатым телом. В другом углу было оборудовано некое подобие лаборатории, — здесь в неописуемом беспоряд-

ке теснились реторты, пробирки, центрифуги, культуры микробов, мензурки и бутылки с наклейками: «Гипофиз», «Адреналин», «Мебельная политура», «Вентикачеллумский кэрри» и «Джин Де Купера». На этикетке последнего имелась карандашная надпись: «Уровень жидкости в этой бутылке ПОМЕЧЕН». Наконец, в стоящих там же термостатах содержались живые образчики богомолов, саранчи и иных насекомых, а пол покрывали останки преходящих увлечений волшебника: крокетные молотки, вязальные спицы, мелки пастели, линогравировальные инструменты, воздушные змеи, бумеранги, клей, сигарные коробки, самодельные духовые инструменты (деревянные), повареные книги, волынка, телескоп, жестянка замазки для садовых прививок и корзинка с крышкой и с биркой «Фортнум энд Мэйсон» на донышке.

Старый Король удовлетворенно вздохнул и забыл о внешнем мире.

— Ну-с, барсук, — сказал Мерлин, распираемый важностью и официальностью, — а подай-ка мне протокол последнего заседания.

— Мы же его не вели. Чернил не было.

— Ну и Бог с ним. Давай тогда заметки о Великом Викторианском Высокомерии.

— А эти пошли на растопку.

— Вот дьявол. Так дай хоть «Пророчества», что ли.

— «Пророчества» есть, — гордо сказал барсук и склонился, сгребая в кучу листы, осыпавшиеся, когда он вставал, на решетку камина. — Я их нарочно подготовил, — пояснил он.

К сожалению, листы уже прихватило огнем, и когда барсук задул их и передал магу, выяснилось, что все они успели наполовину сгореть.

— Ну, это уж черт знает что! А куда ты дел «Тезисы о человеке» и «Диссертацию о Силе»?

— Вот сию минуту были здесь.

И бедный барсук, состоявший секретарем комитета, правда, довольно никудышным, с встревоженным и пристыженным видом принялся, близоруко щурясь, перебирать бумеранги.

Архимед сказал:

— Может быть, проще будет обойтись без бумаг, а, хозяин? Давайте просто поговорим.

Мерлин пронзил его гневным взором.

— Нам ведь нужно лишь объясниться, — заметил T. natrix.

Мерлин пронзил и его.

— В любом случае, — сказал Балин, — мы именно к этому в конце концов и придем.

Мерлин перестал сверкать глазами и обиженно надулся.

Каваль, украдкой подобравшись к хозяину, положил ему голову на колени, с мольбой заглянул в лицо и не был отвергнут. Козел самоцветными глазами уставился в пламя. Барсук с виноватым видом снова опустился в кресло, а ежик, чопорно сидевший в дальнем углу, сложив на коленях руки, неожиданно для всех подал первую реплику.

— Рассказывай, парень, — сказал он.

Все изумленно воззрились на ежика, но он был не из тех, кого легко осадить. Он отлично знал, почему всякий, с кем он оказывался рядом, норовил отодвинуться, но считал, что права у всех тем не менее равные.

— Рассказывай, парень, — повторил он.

— Я предпочел бы послушать, — сказал Король. — Я ничего пока не понимаю, кроме того, что меня привели сюда для восполнения каких-то пробелов в моем образовании. Вы не могли бы начать с самого начала?

— Главная сложность в том, — заметил Архимед, — что чрезвычайно трудно решить, где оно — это начало.

— Тогда расскажите мне про комитет. Для чего вы создали комитет, и что за вопрос он решает?

— Ты мог бы назвать нас Комитетом по Проблеме Воплощения Силы в Человеке. Мы пытаемся разрешить стоящую перед тобой задачу.

— Мы — Королевская Комиссия, — гордо пояснил барсук. — Было сочтено, что собрание разного рода животных может оказаться способным давать рекомендации самым различным ведомствам…

Долее сдерживаться Мерлин оказался не в силах. Даже ради сохранения обиженного вида молчать, когда другие уже разговаривают, он не мог.

— Позвольте-ка мне, — сказал он. — Я-то в точности знаю, с чего начать, так уж я и начну. Всем слушать.

— Мой милый Варт, — произнес он после того, как ежик выкрикнул: «Слушайте, слушайте!» и, подумав, прибавил: «К порядку!», — прежде всего я должен попросить тебя мысленно обратиться к начальной поре моего учительства. Ты о ней что-нибудь помнишь?

— Все начиналось с животных.

— Вот именно. А не приходило тебе на ум, что я отправлял тебя к ним не ради забавы?

— Ну уж забавного там хватало…

— Но почему именно животные, вот в чем

вопрос.

— Так объясни же мне — почему.

Волшебник уложил ногу на ногу, скрестил на груди руки и важно сощурился.

— В мире, — сказал он, — насчитывается двести пятьдесят тысяч животных видов, — это не считая растительности, — и не менее двух тысяч восьмисот пятидесяти из них млекопитающие, как и сам человек. Все они в той или иной форме обладают политическими институтами (одна из ошибок моего друга Аристотеля как раз и состояла в том, что он именно человека определил как «политическое животное»), между тем как сам человек, эта жалкая малость в сравнении с двумястами сорока девятью тысячами девятьсот девяносто девятью прочими видами, ковыляет по своей набитой политической колее, даже не поднимая глаз на окружающие его четверть миллиона примеров. Положение тем более нелепое, что человек представляет собой парвеню животного мира, ибо почти все остальные животные еще за многие тысячи лет до его появления так или иначе разрешили все его проблемы.

По комитету прошел одобрительный шепоток, а уж мягко добавил:

— Именно по этой причине он и пытался дать

тебе, Король, представление о природе, — была надежда, что приступая к решению своей задачи, ты оглянешься по сторонам.

— Ибо политические установления любого животного вида, — сказал барсук, — включают средства контроля над Силой.

— Но я не понимаю… — начал было Король, однако его сразу же перебили.

— Разумеется, ты не понимаешь, — сказал Мерлин. — Ты намерен сказать, что у животных нет политических установлений. Прими мой совет, сначала подумай как следует.

— А разве есть?

— Конечно есть и весьма эффективные. Кое-кто среди них являет собою коммунистов или фашистов, подобно большинству муравьев, — имеются и анархисты, вроде гусей. Существуют также социалисты — пчелы, к примеру, да, собственно и среди трех тысяч муравьиных семейств распространены разные оттенки идеологий, не один только фашизм. Не все они поработители и милитаристы. Имеются рантье — белки, скажем, или медведи, которые во всю зимнюю спячку существуют за счет жировых накоплений. Любое гнездо, любая нора, каждое пастбище представляют собой форму личной собственности, — и

как, по-твоему, ухитрились бы уживаться друг с другом вороны, кролики, пескари и прочие живущие сообществами создания, если бы они не разрешили проблем Демократии и Насилия?

Видимо, эта тема была основательно проработана, ибо прежде чем Король успел ответить, в разговор вмешался барсук.

— Ты так и не привел нам, — сказал он, — и никогда не сможешь привести ни единого примера капитализма в мире природы.

Вид у Мерлина стал совершенно несчастный.

— А поскольку примера ты привести не можешь, — добавил барсук, — это доказывает, что капитализм противоестественен.

Стоит упомянуть, что во взглядах барсука сказывалось сильное влияние русских. И он, и прочие звери провели в спорах с Мерлином столько столетий, что поневоле овладели высоковолшебной терминологией и теперь произносили такие слова как «большевики» и «нацисты» с легкостью необычайной, словно те были лоллардами или хлыстунами современной им истории.

Мерлин, принадлежавший к твердолобым консерваторам, — качество в его положении даже прогрессивное, если учесть, что двигаться во времени ему приходилось навстречу всем

остальным,

— слабо оборонялся.

— Паразитизм, — сказал он, — древнее и почтенное установление природы, присущее многим — от блохи до кукушки.

— Мы не о паразитизме говорим. Мы говорим о капитализме, для которого имеется точное определение. Можешь ли ты привести в пример хотя бы один вид, помимо человека, представители которого присваивают стоимость, создаваемую трудом других представителей того же вида? Даже блохи не эксплуатируют блох.

Мерлин сказал:

— Существуют человекообразные обезьяны, за которыми, когда их содержат в неволе, хозяевам приходится присматривать и очень внимательно. В противном случае господствующие особи отнимают у своих собратьев пищу, порой даже заставляя их отрыгивать ее, и те умирают голодной смертью.

— Пример представляется шатким.

Мерлин скрестил руки и еще помрачнел. Наконец, он «натянул решимость, как струну», глубоко вздохнул и признал горькую правду.

— Да он шаткий и есть, — сказал он. — Я не могу отыскать в природе ни одного примера подлин-

ного капитализма.

Но едва он это сказал, как руки его взмыли вверх, и кулак одной влепился в ладонь другой.

— Вот оно! — воскликнул он. — Я же чувствовал, что я прав относительно капитализма. Мы просто не там искали.

— По обыкновению.

— Главная специализация каждого вида почти всегда представляется неестественной прочим видам. И отсутствие в природе примеров капитализма вовсе не означает, что капитализм неестественен для человека, — неестественен в смысле «плох». На том же основании можно утверждать, что для жирафа неестественно объедать верхушки деревьев, — ведь других антилоп со столь же длинной шеей не существует, — или что первые земноводные, вылезая из воды, вели себя неестественно, поскольку других примеров земноводности в то время не существовало. Капитализм — это попросту специализация человека, точно такая же, как и развитый головной мозг. В природе нет других созданий с головным мозгом, подобным человеческому. Но это же не значит, что обладание головным мозгом неестественно для человека. Напротив, это значит, что человек обязан свой мозг развивать. То же и с капитализ-

мом. Подобно мозгу, он — специализация человека, жемчужина короны! Вообще, если вдуматься, капитализм, возможно, и проистекает из обладания развитым мозгом. Иначе почему еще один пример капитализма — вот те самые обезьяны — обретается нами среди антропоидов с мозгом, родственным человеческому? Да-да, я всегда знал, что прав, оставаясь мелким капиталистом! Я знал, что существует основательная причина, по которой России времен моей юности следовало бы изменить ее воззрения. Уникальность не подразумевает неправильности: напротив, именно правильность она и подразумевает. Правильность для человека, конечно, не для прочих животных. Она подразумевает…

— Сознаешь ли ты, — спросил Архимед, — что вот уже несколько минут никто из присутствующих не понимает ни единого твоего слова?

Мерлин резко умолк и посмотрел на своего ученика, следившего за разговором более с помощью глаз, чем чего-либо иного, — переводя их с одного лица на другое.

— Прошу прощения.

Король заговорил задумчиво, словно обращался к себе самому.

— Выходит, что я был глуп? — спросил он. —

Глуп, не обращая внимания на животных?

— Глуп! — вскричал волшебник, вновь обретая победный тон, ибо открытие относительно капитализма наполнило его ликованием.

— Вот наконец-то крупица истины на устах человека! Nunc dimittis!

И немедля оседлав своего конька, он поскакал во всех направлениях сразу.

— Что меня просто валит с ног, — воскликнул он, — так это самоуверенная наглость человеческой расы. Начни с необъятной вселенной, затем сузь область рассмотрения до одного крохотного солнца в ней; перейди к спутнику этого солнца, каковой мы именуем Землею; взгляни на мириады водорослей или как они там называются, населяющих океан, на неисчислимых микробов, достигающих минус бесконечности и обитающих внутри нас. Окинь взглядом четверть миллиона видов, которые я уже упомянул, прикинь, сколь немыслимо долго они уже существуют. А теперь посмотри на человека, на прямоходящего, чей взор достигает, с точки зрения природы, не дальше, чем взор новорожденного щенка. И именно он, это… это пугало, — Мерлин до того разволновался, что уже не мог тратить время на поиски подходящих эпитетов, — …он присваивает себе

прозвище Homo sapiens, — ничего себе, а? — он объявляет себя венцом творения, совершенно как тот осел, Наполеон, сам на себя возложивший корону! Он, видите ли, являет снисхождение к прочим животным: даже к собственным предкам, да благословит Господь мою душу и тело! Вот оно: Великое Викторианское Высокомерие, поражающее, неизъяснимое предрассуждение девятнадцатого века. Загляни хотя бы в романы Скотта, который даже человеческих существ заставляет изъясняться так, словно они не люди, а железные грелки с углями, — лишь потому, что они родились за какую-то пару сотен лет до него! И вот тебе человек, гордо красующийся посреди двадцатого века, — он питает благодушную веру, что его раса за тысячу жалких лет «продвинулась вперед», и при этом только тем и занимается, что разносит на куски своих же собратьев. Когда же до него дойдет, что у птицы уходит миллион лет на изменение одного-единственного махового пера? Нет, красуется, жалкий увалень, пыжится, ибо уверен, что весь мир изменился, поскольку он удосужился изобрести двигатель внутреннего сгорания! Пыжится еще со времен Дарвина, потому как прослышал, что существует какая-то эволюция. Он совершенно не сознает, что эво-

люция протекает миллионолетними циклами, и оттого полагает себя уже эволюционировавшим с эпохи Средних веков. Двигатель внутреннего сгорания, может быть, и эволюционировал, а не он! Загляни в эту нестерпимую книгу, «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», ты увидишь, как он осклабляется при упоминании о своих же пращурах, не говоря уж о прочих млекопитающих. Потрясающее, всеобъемлющее нахальство! А Бога сотворить по собственному подобию?! Уверяю тебя, так называемые примитивные народы, обожествлявшие животных, были вовсе не так глупы, как считается. Им хотя бы скромности доставало. Почему это Бог не может сойти на землю в образе дождевого червя? Червей куда больше, чем людей, а пользы от них и гораздо больше. Да и о чем, вообще, речь? Где оно, это дивное превосходство? Чем двадцатый век выше Средних веков, а средневековый человек — примитивных народов или диких зверей? Что, человек так уж замечательно научился управлять своей Силой, Свирепостью или Собственностью? Чего достиг он? Истребляет, как каннибал, представителей собственного вида! Известны ли тебе подсчеты, согласно которым с 1100-го по 1900-й годы Англия провоевала че-

тыреста девятнадцать лет, а Франция — триста семьдесят три? Знаешь ли ты о выкладках Лапюже, из коих следует, что в Европе каждые сто лет убивали по девятнадцати миллионов человек, так что пролитая кровь могла бы питать фонтан, извергавший с самого начала истории по семьсот литров в час? А теперь позволь сказать тебе следующее, досточтимый сэр. В природе, внешней по отношению к человеку, война — это такая редкость, что ее, почитай, и вовсе не существует. На все двести пятьдесят тысяч видов наберется от силы дюжина воюющих. Если бы природа удосужилась обратить свой взор на человека, на этого крошечного кровопийцу, у нее бы волосы встали дыбом!

— И наконец, — заключил волшебник, — оставляя в стороне его моральные качества, является ли это одиозное существо значительным хотя бы в плане физическом? Снизошла бы равнодушная природа до того, чтобы заметить его, наравне с тлей и коралловыми полипами, вследствие изменений, произведенных им на земной поверхности?

4

Король, ошеломленный таким потоком красноречия, вежливо произнес:

— Разумеется, снизошла бы. Хотя бы делами своими мы все же значительны.

— Это какими же? — яростно осведомился его наставник.

— Ну, помилуй. Посмотри, сколько мы всего понастроили, посмотри на города, на пахотные поля…

— Большой Барьерный Риф, — глядя в потолок, сказал Архимед, — представляет собой постройку длиною в тысячу миль, сооруженную исключительно насекомыми.

— Так ведь это всего-навсего риф.

Мерлин привычно ахнул шляпой о пол.

— Ты когда-нибудь научишься мыслить отвлеченно? — вопросил он. — Коралловые полипы имеют ровно столько же оснований заявить, что Лондон — всего-навсего город.

— Пусть так, но если все города мира выстроить в ряд…

Архимед сказал:

— Если ты возьмешься выстраивать в ряд города мира, я выстрою все коралловые острова и атоллы. А после мы сравним результаты и увидим то, что увидим.

— Ну, может быть, насекомые важнее человека, но ведь это всего лишь один вид…

Козел застенчиво произнес:

— По-моему, у комитета должна где-то быть записка насчет бобра, — в ней утверждается, что бобры соорудили целые моря и континенты…

— Птицы, — с подчеркнутым бесстрастием промолвил Балин,

— разносящие в своем помете семена деревьев, как уверяют, насадили леса, столь обширные…

— А кролики, — вмешался ежик, — которые, почитай, от Австерии ровное место оставили…

— А фораминиферы, из чьих тел, собственно, и состоят «белые скалы Дувра»…

— А саранча…

Мерлин поднял руку.

— Предъявите ему скромного дождевого червя, — величественно вымолвил он.

И звери хором зачитали цитату:

— Натуралист Дарвин указывает, что в акре каждого поля обитает примерно 25 000 дождевых червей, что в одной только Англии они ежегодно

взрыхляют 320 000 000 тонн почвы, и что обнаружить их можно практически в любом регионе Земли. В течение тридцати лет они изменяют всю земную поверхность на глубину в семь дюймов. «Земля без червей, — говорит бессмертный Гилберт Уайт, — вскоре стала бы холодной, затверделой, лишенной ферментации и вследствие того бесплодной.»

5

— Сдается мне, — сказал Король — счастливым тоном, ибо все эти разговоры, казалось, уводили его далеко от Мордреда и Ланселота, от мест, в которых, по слову из «Короля Лира», — «люди пожирают друг друга, как чудища морские», — прямиком в радостный мир, где размышляют, беседуют и любят, не обрекая себя этим на муки. — Сдается мне, что если все сказанное вами правда, то с моих собратьев-людей стоило бы сбить немного спеси, и это пошло бы им только на пользу. Если удастся приучить их смотреть на себя лишь как на одну из разновидностей млекопитающих, возможно, новизна такого воззрения окажет на них бодрящее действие. Расскажите же мне, к каким выводам относительно животного, именуемого человеком, пришел комитет, ибо вы, конечно, обсуждали эту тему.

— У нас возникли затруднения с названием.

— С каким названием?

— Homo sapiens, — пояснил уж. — Стало очевидным, что в качестве прилагательного sapiens никуда не годится, а найти иное до крайности

трудно.

Архимед прибавил:

— Помнишь, Мерлин однажды упомянул, что зяблик носит прозвание coelebs? Хорошее прилагательное, отражающее какую-либо особенность, присущую виду, вот что нам требуется.

— Первым предложением, — сказал Мерлин, — было, разумеется, ferox, поскольку человек — самое свирепое из животных.

— Странно, что ты упомянул это слово. Час назад я сам именно о нем и думал. Но ты, конечно, преувеличиваешь, когда говоришь, что человек свирепее тигра.

— Преувеличиваю?

— Я всегда находил, что в целом люди — существа достойные…

Мерлин снял очки, глубоко вздохнул, протер их, снова надел и с любопытством воззрился на своего ученика, как если бы ожидал, что у того могут в любую минуту вырасти длинные, мягкие, ворсистые уши.

— Попробуй-ка вспомнить свою последнюю прогулку, — кротко предложил он.

— Прогулку?

— Ну да, прогулку по зеленым английским лугам. Вот идет себе Homo sapiens, наслаждаясь

вечерней прохладой. Вообрази себе эту сцену. Вот черный дрозд распевает в зарослях. Он что,

— умолкает и с проклятьем убирается прочь? Ничуть не бывало. Он лишь начинает петь громче и опускается человеку на плечо. А вон и кролик пощипывает травку. Разве он удирает в ужасе к себе в нору? Вовсе нет. Он скачет человеку навстречу. Мы видим также полевую мышь, ужа, лисицу, ежика, барсука. Прячутся они или радостно принимают пришлеца?

— Почему? — воскликнул старый волшебник, вспыхивая вдруг странным, застарелым негодованием. — Почему нет в Англии ни единой твари, которая не улепетывала бы даже от человеческой тени, уподобляясь обгорелой душе, удирающей из чистилища? Ни млекопитающего, ни рыбы, ни птицы. Иди, прогуляйся чуть дальше, выйди на берег реки, — даже рыбы шарахнутся прочь. Поверь мне, внушать страх всему живому — это чего-нибудь да стоит.

— И не надо, — быстро добавил старик, кладя ладонь на колено Артура, — не надо воображать, что они точно так же бегут друг от друга. Если лиса выйдет на луг, кролик, быть может, и смоется, но птица на дереве, да и все остальные, смирятся с ее присутствием. Если ястреб повиснет над

ними, дрозд, возможно, и спрячется, но лиса и прочие отнесутся к его появлению спокойно. И только человека, только ретивого члена Общества по изобретению новых мук для животных, страшится любая живая тварь.

— Все же эти животные не вполне, что называется, дикие. Тигр, к примеру…

Мерлин вновь прервал его, вскинув руку.

— Хорошо, если хочешь, прогуляемся по самым что ни на есть Черным Индиям, — сказал он. — Нет в африканских джунглях ни тигра, ни кобры, ни слона, которые не убегали бы от человека. Несколько тигров, спятивших от зубной боли, еще, может быть, и нападут на него, да кобра, если ее как следует прижать, будет сражаться из самозащиты. Но когда на лесной тропе умственно полноценный человек встречает такого же тигра, в сторону сворачивает именно тигр. Единственные животные, которые не бегут от человека, это те, которые его никогда не видели, — тюлени, пингвины, додо, арктические киты, — так они вследствие того и оказываются тут же на грани исчезновения. Даже те немногочисленные создания, что кормятся на человеке, — москиты и паразитирующие блохи — даже они страшатся своего кормильца и старательнейшим образом

следят за тем, чтобы не подвернуться ему под пальцы.

— Homo ferox, — продолжал Мерлин, качая головой, — редчайшее в природе животное, убивающее для удовольствия. В этой комнате нет ни единого зверя, который не относился бы к убийству с презрением, разве что оно совершается пропитания ради. Человек впадает в негодование, завидев сорокопута, в небольшой кладовке которого имеется скромный запас улиток и прочего, насаженный на колючки, между тем как собственные забитые доверху кладовые человека окружены стадами очаровательных существ вроде мечтательных волов или овец с их интеллигентными и чувствительными лицами, которых держат лишь для того, чтобы плотоядный их пастырь, у коего и зубы-то не годятся для плотоядства, зарезал их на самом пороге зрелости и сожрал. Почитал бы ты письмо Лэма к Саути, в котором описывается, как испечь живого крота, да что можно учинить с майскими жуками, с кошкой, засунутой в пузырь, да как надрезать только что пойманных скатов, да о рыболовных крючках, этих «смиренных подателях невыносимой боли». Homo ferox, изощренный мучитель животных, который ценой огромных расходов растит

фазанов лишь затем, чтобы их убивать; который терпеливо обучает прочих животных ремеслу убийцы; который живьем сжигает крыс, — я видел это однажды в Ирландии, — дабы их визгом припугнуть иных грызунов; который вызывает у домашних гусей перерождение печени, чтобы затем повкуснее поесть; который отпиливает у скота живые рога для удобства транспортировки; который иглой ослепляет щеглов, чтобы они запели; который заживо варит в кипятке омаров и раков, хоть и слышит их пронзительные вопли; который уничтожает войнами собственный вид и каждые сто лет губит по девятнадцати миллионов его представителей; который публично казнит себе подобных, если суд признает их виновными в преступлении; который выдумал способ терзать с помощью розги своих же детенышей, и который свозит их в концентрационные лагеря, именуемые школами, где те же самые муки причиняются детям специально уполномоченными субъектами… Да, ты имеешь полное право спросить, так ли уж обоснованно поименование человека словом ferox, ибо это слово в собственном его значении, относящимся до жизни вполне достойных животных на лоне дикой природы, никак невозможно приложить к

такому созданию.

— О Господи, — сказал Король. — Ну и подготовка же у тебя.

Но утихомирить старого волшебника было отнюдь не просто.

— Причина, по которой мы усомнились в пригодности слова ferox, — сказал он, — состояла в том, что Архимед заявил, будто stultus уместнее.

— Stultus? А мне казалось, что мы — существа разумные.

— Во время одной из жалких войн, какие велись в мои молодые годы, — с глубоким вздохом сказал волшебник, — было сочтено необходимым снабдить население Англии набором печатных карточек, предназначенных для того, чтобы обеспечить это население пищей. Прежде, чем купить еду, надлежало собственноручно заполнить такую карточку. Каждый индивидуум должен был в одну часть карточки вписать номер, в другую собственное имя, а в третью — имя торговца продуктами. Человеку оставалось либо осуществить сей интеллектуальный подвиг — вписать один номер и два имени, — либо помереть от голода. От этой операции зависела его жизнь. В итоге выяснилось, что, насколько я помню, две трети населения неспособны безошибочно произвеси

такую последовательность действий. И этим людям, как уверяет нас Католическая Церковь, вверены бессмертные души!

— А ты уверен в истинности приведенных фактов? — с сомнением поинтересовался барсук.

Мерлину хватило такта, чтобы покраснеть.

— Я не вел тогда записей, — сказал он, — но в существе, если не в деталях, эти факты верны. Я, например, ясно помню одну женщину, стоявшую во время той же войны в очереди за птичьим кормом; как выяснилось при распросах, никаких птиц у нее не было.

Артур возразил:

— Даже если те люди не сумели как следует вписать, что следовало, это ничего не доказывает. Будь они иными животными, они вообще не умели бы писать.

— Краткий ответ на это, — парировал философ, — таков: ни одно человеческое существо не способно просверлить носом дырку в желуде.

— Не понимаю.

— А вот видишь ли, насекомое, именуемое Balaninus elephas, умеет сверлить желуди упомянутым способом, но не умеет писать. Человек может писать, но не может сверлить желудей. Таковы их специализации. Существенное разли-

чие между ними состоит, однако же, в том, что если Balaninus сверлит свои дырки чрезвычайно умело, человек, как я тебе продемонстрировал, писать толком не умеет. Вот почему я говорю, что если сопоставлять различные виды, человек оказывается более бестолковым, более stultus, чем остальная животная братия. Да, собственно, никакой разумный наблюдатель иного ожидать и не вправе. Слишком краткое время провел человек на нашем шарике, чтобы требовать от него сноровки в каком бы то ни было ремесле.

Король почувствовал, что настроение его становится все более подавленным.

— И много других имен вы придумали? — спросил он.

— Было и третье предложение, его внес барсук.

При этих словах довольный барсук пошаркал ногами, украдкой оглядел из-под очков общество и принялся изучать свои длинные когти.

— Impoliticus, — сказал Мерлин, — Homo impoliticus. Если помнишь, Аристотель определил нас как политических животных. Барсук предложил подвергнуть это определение проверке, и мы, рассмотрев политическую практику человека, пришли к выводу, что impoliticus, по всей видимости — единственное пригодное слово.

— Продолжай, раз уж начал.

— Мы установили, что Homo ferox присущи политические идеи двух сортов: либо что любая проблема решается силой, либо что для их разрешения следует прибегать к убеждению. Муравьеобразные люди будущего, уверовавшие в силу, считают, что для установления истинности утверждения «дважды два четыре» достаточно повышибать дух из людей, которые с тобой несогласны. Демократы же, верующие в убеждение, полагают, что всякий человек вправе обладать собственным мнением, ибо все люди рождаются равными: «Я ничем не хуже тебя», — вот первое, что инстинктивно выпаливает человек, который хуже тебя всем.

— Но если нельзя опереться ни на силу, ни на убеждение, — сказал Король, — то я не вижу, что остается делать.

— Ни сила, ни убеждение, ни мнение никак не связаны с размышлением, — с глубочайшей искренностью промолвмл Мерлин.

— Убеждая в чем-либо другого, ты лишь проявляешь силу ума, — это своего рода умственное фехтование и цель его — достигнуть победы, не истины. Мнения же суть тупики дураков и лентяев, неспособных думать. Если когда-нибудь

честный политик по-настоящему и с бесстрастием обдумает свое занятие, то в конце концов даже Homo stultus вынужден будет принять его выводы. Мнению нипочем не устоять против истины. Однако, в настоящее время Homo impoliticus предпочитает либо спорить о мнениях, либо драться на кулачках — вместо того, чтобы ждать, когда в голове у него забрезжит истина. Должны пройти еще миллионы лет, прежде чем людей в их массе можно будет назвать политическими животными.

— Так что же мы представляем собой в настоящем?

— Нам удалось обнаружить, что в настоящее время род человеческий разделяется в политическом отношении на одного мудреца, девятерых прохвостов и девять десятков болванов на каждую сотню. То есть — это с точки зрения оптимистического наблюдателя. Девять прохвостов собираются под знамя, выброшенное самым прожженым из них и становятся «политическими деятелями»; мудрец отходит в сторонку, ибо понимает, что его безнадежно превосходят числом, и посвящает себя поэзии, математике или философии; что же до девяноста болванов, то эти плетутся вослед знаменам девя-

терых проходимцев, выбирая их наугад, плетутся по лабиринтам софистики, злобы или войны. Так приятно командовать, говорит Санчо Панса, даже если командуешь стадом баранов, — вот потому-то политики и вздымают свои знамена. К тому же, баранам все едино за каким знаменем тащиться. Если это знамя демократии, девятеро прохвостов станут членами парламента, если фашизма — партийными лидерами, если коммунизма — комиссарами. И никакой больше разницы, только в названии. Болваны так и будут болванами, мошенники — вождями, результатом — эксплуатация. Что касается мудреца, то и его удел при любой идеологии в общих чертах одинаков. При демократии ему предоставят возможность пухнуть с голода на чердаке, при фашизме упекут в концентрационный лагерь, при коммунизме ликвидируют. Таков оптимистический, но в целом вполне научный вывод относительно повадок Homo impoliticus.

Король мрачно сказал:

— Ну что же, прошу у всех прощения за беспокойство. Насколько я понимаю, самое лучшее для меня — пойти и утопиться. Я нахален, ничтожен, свиреп, туп и неспособен к политической жизни. Вряд ли мне стоит и дальше влачить подобное

существование.

Услышав это, все звери ужасно разволновались. Они вскочили, все как один, обступили его, принялись обмахивать его веерами и наперебой предлагать вина.

— Нет, — говорили они. — Право же, мы вовсе не хотели тебе нагрубить. Мы хотели помочь, честное слово. Не принимай все так близко к сердцу. Мы уверены, непременно существует множество людей, которые действительно sapiens и ничуть не свирепы. Мы говорили тебе все это, чтобы заложить своего рода основы, которые после могли бы облегчить решение твоей сложной задачи. Ну, давай же, пропусти стаканчик мадеры и больше не думай об этом. Ей-ей, мы считаем человека самым чудесным из всех созданий, наилучшим, какое только существует в природе.

И они сердито поворотились к Мерлину, говоря:

— Ну, посмотри, что ты наделал! Вот они, твои тары— бары! Бедный Король совершенно отчаялся, а все потому, что ты навалился на него, балабонишь и делаешь из мухи слона!

Мерлин ответил только:

— Даже определение, данное греками, — «Ан-

тропос», «Тот, кто смотрит вверх», — даже и оно неверно. Расставшись с отрочеством, человек редко устремляет взор на что-либо расположенное выше его роста.

7

Странным казалось ему в его возрасте вновь отправиться к животным. Возможно, думал он со стыдом, я просто снова впал в детство, и мне все это снится, возможно, я докатился до старческого слабоумия.

Но эта мысль заставила его припомнить свое настоящее детство, счастливые дни, когда он плавал во рву или летал с Архимедом, и он осознал, что с той поры кое-чего лишился. Теперь он назвал бы утраченное способностью удивляться. В то время все приводило его в восторг. Его восприимчивость или чувство прекрасного, — как там это ни называй, — без разбору влеклось к чему ни попадя. Он мог, пока Архимед читал ему лекцию о птичьем полете, зачарованно следить, как топорщиться в совиных когтях мышиный мех . Или же великий господин Щ мог произносить перед ним речь о Диктатуре, а он все это время видел лишь зубастую пасть и сосредоточенно разглядывал ее, обуреваемый восторгом, сопутствующим обретению всякого нового знания.

Эта способность удивляться не возвратилась к

нему, сколько ни отдраивал Мерлин его мозг. На смену ей пришла, как он полагал, способность к трезвому суждению. Теперь-то он выслушал бы и Архимеда, и господина Щ. Теперь он не заметил бы ни серого меха, ни желтых зубов. И думая об этой перемене, он не испытывал гордости.

Старик зевнул, — ибо и муравьи зевают, равно как и потягиваются со сна, подобно людям, — и обратил свои помыслы к предстоящему делу. Никакой радости он, став муравьем, не испытывал, не то, что при прежних превращениях, он думал лишь: ну вот, придется поработать. С чего начнем?

Гнезда были изготовлены из земли, рассыпанной неглубоким, не толще полудюйма, слоем на небольших столиках, похожих на скамейки для ног. Сверху на слой земли поместили стеклянную пластину, накрыв ее тканью, ибо в тех местах, где выращивается молодняк, должно быть темно. Удалив ткань, можно было заглянуть в подземный муравьиный приют, — нечто вроде муравейника в разрезе. Заглянуть можно было и в круглое помещение, в котором выхаживали куколок, — точно в теплицу со стеклянной крышей.

Собственно гнезда располагались ближе к

краям столиков, — стеклянные крышки закрывали их только наполовину. Это было подобие открытой сверху земляной авансцены, а на противоположных краях столиков размещались стеклышки от часов, куда для кормления муравьев наливался сироп. Между собой гнезда не сообщались. Столики стояли бок о бок, но не соприкасаясь, а под ножки их были подставлены тарелки с водой.

Разумеется, сейчас все это выглядело иначе. Местность, в которую он попал, походила на обширное поле, усеянное валунами, на одном из концов его виднелась сплющенная — между пластинами стекла — цитадель. Попасть в нее можно было через туннели, пробитые в камне, и над каждым из входов красовалось уведомление:

ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, — ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ТАКОВ НОВЫЙ ПОРЯДОК.

Уведомление ему не понравилось, хоть и осталось непонятным. Про себя он подумал: надо бы немного осмотреться, прежде чем лезть вовнутрь. Невесть по какой причине, эти надписи поубавили в нем охоты проникнуть в крепость, они придавали грубым туннелям какой-то зловредный вид.

Размышляя о надписях, он осторожно пошеве-

лил похожими на антенны сяжками, привыкая к новым ощущениям, и покрепче уперся ступнями в землю, как бы желая утвердиться в новом для него мире насекомых. Передними ножками он почистил сяжки, подергал за них, пригладил, — вид у него был при этом совершенно как у викторианского негодяя, подкручивающего усы. Сразу за этим он осознал нечто, ожидавшее осознания, — а именно, что в голове у него слышен какой-то шум, причем явно членораздельный. Шум ли то был или некий сложный запах, он никак не мог разобрать, — проще всего описать это явление, сказав, что оно походило на передачу по радио. Поступала передача через сяжки, походя на музыку.

Музыка, размеренная, словно пульс, а с нею слова — что-то вроде «Ложка-ножка-мошка-крошка» или «Мамми-мамми— мамми-мамми», или «Ты-мечты-цветы». Поначалу ему эти песни нравились, особенно про «Вновь-кровь-любовь», — пока он не обнаружил, что они не меняются. Едва закончившись, они начинались сызнова. Через час-другой ему уже казалось, что он вот-вот завоет от них.

Кроме того, в голове у него раздавался голос, — в паузах между музыкой, — и по всей видимости

отдавал некие приказания.

— Всех двудневок перевести в западный проход, — говорил он, или, — Номеру 210397/WD заступить в сиропную команду взамен выпавшего из гнезда 333105/WD.

Голос был роскошный, но какой-то безликий, — словно его очарование явилось результатом старательных упражнений, своего рода цирковым трюком. Мертвый был голос.

Король, или быть может, нам следовало бы сказать муравей, пошел прочь от крепости, едва лишь ощутил в себе способность передвигаться. Он начал исследовать каменистую пустошь, однако чувствовал себя при этом неважно, — идти в то место, откуда исходили приказы ему не хотелось, но и этот тесноватый пейзаж наводил на него тоску. Он обнаружил среди валунов неприметные тропки, извилистые и бесцельные, и вместе целенаправленные, ведшие к сиропохранилищу, но также и куда-то еще, — а куда, он не разобрался. По одной из них он добрел до глыбы земли, под которой располагалась естественная котловина. В котловине, — опять-таки обладавшей странным выражением бессмысленной осмысленности — он обнаружил пару дохлых муравьев. Они лежали рядышком, но неряшливо,

как будто некто весьма основательный притащил их сюда, дорогой забыв — зачем. Лежали они скрючась, и не казались ни довольными, ни огорченными своей кончиной. Просто лежали, как два опрокинутых стула.

Пока он разглядывал трупы, по тропинке спустился живой муравей, тащивший третьего покойника.

— Хай, Сангвиний! — сказал он.

Король вежливо ответил:

— Хай.

В одном отношении, хоть он и не подозревал об этом, ему повезло. Мерлин не забыл снабдить его нужным для гнезда запахом, — ибо, пахни от него каким-то иным гнездом, муравьи убили б его на месте. Если бы мисс Эдит Кавелл была муравьем, на памятнике ей было б написано: «ЗАПАХ ЕЩЕ НЕ ВСЕ».

Новый муравей кое-как свалил принесенный труп и принялся растаскивать двух других в разные стороны. Казалось, он не знает, куда их пристроить. Или вернее, он знал, что лежать они должны в определенном порядке, но не мог сообразить как этого порядка добиться. Он походил на человека с чашкой чая в одной руке и бутербродом в другой, которому захотелось

чиркнуть спичкой и закурить сигарету. Однако если бы человек додумался поставить чашку и положить бутерброд, — прежде чем хвататься за сигарету и спички, — этот муравей положил бы бутерброд и взял спички, потом бросил бы спички и схватился за сигареты, потом положил бы сигарету и взял бутеброд, поставил бы чашку, взял сигарету и наконец оставил бы бутерброд в покое и взял спички. Он, видимо, склонен был полагаться для достижения цели на случайную последовательность действий. Терпения ему хватало, а вот думать он не умел. Если перетаскивать три трупа с места на место, их удастся со временем уложить под глыбой в одну линию, что и составляло его обязанность.

Король наблюдал за его суетой с удивлением, обратившимся в раздражение, а затем в неприязнь. Он испытывал желание спросить муравья не лучше ли загодя обдумать то, что намереваешься делать, — досадливое желание человека, наблюдающего за худо исполняемой работой. Потом у него возникла потребность задать и еще кой-какие вопросы, к примеру: «Тебе нравится быть могильщиком?» или «Ты раб?», или даже «Ты счастлив?».

Самое-то удивительное было то, что задать

эти вопросы он не мог. Для этого пришлось бы переложить их на муравьиный язык и передать через антенны, — между тем, он с беспомощным чувством обнаружил вдруг, что нужных ему слов попросту не существует. Не было слов ни для счастья, ни для свободы, не было слова «нравиться», как не было их и для противоположных понятий. Он ощутил себя немым, пытающимся крикнуть: «Пожар!». Наиболее близкими по смыслу словами, какие ему удалось подобрать даже для «правильный» и «неправильный», были «дельный» и «бездельный».

Отвозившись с трупами и оставив их лежать в беспорядке, муравей снова поворотил на тропу. У себя на пути он обнаружил Артура, а потому затормозил и взмахнул, словно танк, выносными антеннами. Впрочем, он, волосатый, с безгласым и грозным шлемом вместо лица и с чем-то вроде шипов на члениках передних ног, походил скорее на рыцаря в латах верхом на укрытом бронею коне,

— или даже на их комбинацию, на косматого кентавра в доспехах.

Он снова сказал:

— Хай, Сангвиний!

— Хай!

— Что ты делаешь?

Король ответил правдиво, но неразумно:

— Ничего не делаю.

Несколько секунд муравей пребывал в ошеломлении, в каком пребывал бы и ты, если б Эйнштейн поделился с тобой своими последними соображениями касательно Вселенной. Затем он расправил все двенадцать колен антенны и, не обращая внимания на Короля, заговорил прямо в небо.

Он сказал:

— Квадрат пять, докладывает 105978/UDC. В квадрате пять сумасшедший муравей. Прием.

Слово «сумасшедший» он заменил словом «бездельный». Впоследствии Артур обнаружил, что в этом языке имеется лишь две характеристики: «дельный» и «бездельный», — применяемые в любых ценностных суждениях. Если сироп, выставляемый для них Мерлином, был сладким, — это был «дельный» сироп, если же в него добавлялась сулема, он становился «бездельным» сиропом, и этим вопрос исчерпывался. Даже передаваемые по радио «крошки», «цветы», «мамми-мамми» и проч. полностью описывались утверждением относительно дельности оных.

Вещание на миг прервалось и роскошный голос

произнес:

— Штаб-квартира отвечает на вызов 105978/UDC. Какой у него номер? Прием.

Муравей спросил:

— Какой у тебя номер?

— Не знаю.

После того, как эта новость дошла до штаб-квартиры, из нее поступило указание спросить, может ли он объяснить причину своего отсутствия на службе. Муравей спросил может ли он и так далее: теми же словами и тем же голосом, что и радио. Королю стало не по себе и к тому же он обозлился, — оба ощущения были ему неприятны.

— Могу, — ответил он саркастически, поскольку ясно было, что воспринять сарказм это существо неспособно. — Я упал, ударился головой и ничего больше не помню.

— Докладывает 105978/UDC. У бездельного сотрясение по причине выпадения из гнезда. Прием.

— Штаб-квартира отвечает 105978/UDC. Номер бездельного муравья 42436/WD, выпал из гнезда этим утром, во время работы в сиропной команде. Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга…

А вот это — «достаточно компетентен для исполнения своего долга» — на муравьином языке произносится без затруднений, ибо сводится к слову «дельный». Но довольно лингвистики.

— Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга, проинструктируйте 42436/WD присоединиться к сиропной команде, освободив присланного на его место 210021/WD. Конец передачи.

— Понял? — спросил муравей.

Оказалось, что лучшего объяснения, чем выдуманное им — насчет ушиба головы — выдумать было невозможно, даже если бы захотелось, ибо муравьи действительно время от времени падали со столика, и Мерлину, если он вовремя это замечал, приходилось доставлять их обратно на кончике карандаша.

— Да.

Могильщик, не уделяя ему больше никакого внимания, пополз по тропе за новым трупом или за чем-то еще, что следовало отволочь на помойку.

Артур двинулся в другом направлении — на соединение с сиропной командой. Он запомнил свой номер и номер рядового, которого ему предстояло сменить.

8

Служащие сиропной команды, словно идолопоклонники, стояли вокруг одного из часовых стеклышек. Он встал в круг, объявив, что 210021/WD должен вернуться в главное гнездо. Вслед за этим он, как и остальные, принялся наполнять себя сладким нектаром. Поначалу сироп показался ему очень вкусным, так что ел он с жадностью, но через несколько секунд стал испытывать неудовлетворенность. Он никак не мог понять, в чем тут дело. Он лопал изо всех сил, подражая остальным членам команды, однако все это походило на банкет без еды или же на обед в спектакле. Было тут нечто от дурного сна, в котором поглощаешь в огромных количествах шпаклевку и никак не можешь остановиться.

Вокруг часового стекла шла непрестанная суета. Те, кто до краев набивал утробы, уходили вовнутрь крепости, заменяемые процессией пустых муравьев, шествующих оттуда. Новых муравьев в этой процессии не было, одна и та же дюжина сновала туда и сюда, и этим же самым им предстояло заниматься до скончания жизни.

Внезапно Артур осознал, что съеденное не попадает к нему в желудок. В самом начале туда проникла малая часть, теперь же основная масса скоплялась в подобии верхнего желудка или зоба, откуда ее можно было легко изъять. А едва он присоединился к уходящему на запад потоку муравьев, до него дошло, что предстоит отрыгнуть запасенное на каком-нибудь продуктовом складе.

Работая, члены сиропной команды беседовали друг с другом. Сначала это показалось ему хорошим знаком, и он прислушивался, чтобы побольше узнать.

— О вслушайся! — говорил один. — Снова в ушах это «Мамми-мамми-мамми-мамми». По-моему, «Мамми-мамми-мамми-мамми» очень милая (дельная) песенка. Она такая первоклассная (дельная).

Другой замечал:

— По-моему, наша любимая Водительница просто чудесна, а по-твоему как? Мне сообщали, что в последней войне ее ужалили три сотни врагов, и она получила за это Крест Муравьиной Отваги.

— Какое счастье, что в наших жилах течет кровь Сангвиниев, правда? Разве не ужасно было бы оказаться одним из этих вонючих Formicae

fuscae

?

— А ты слышал про 310099/WD, который отказался отрыгнуть сироп, когда его попросили, вот ужас, верно? Конечно его сразу казнили, по особому распоряжению нашей любимой Водительницы.

— О вслушайся! Снова в ушах эта «Мамми-мамми-мамми-мамми— мамми». По-моему…

Артур набил утробу и потащился к гнезду, оставив их в начале нового круга. У них не было ни новостей, ни скандалов, ничего такого, о чем можно было бы поболтать. Никакой новизны для них не существовало. Даже разговоры о казнях укладывались в формулу, изменялся лишь регистрационный номер преступника. Покончив с «мамми-мамми-мамми-мамми», они были вынуждены переходить к любимой Водительнице, а от нее к вонючим fuscae и к последним казням. Причем, даже все любимое, чудесное и счастливое было «дельным», а все ужасное «бездельным».

Он очутился в огромной крепостной зале, где сотни и сотни муравьев вылизывали и кормили малюток; борясь с перепадами температуры, растаскивали личинок по разным переходам,

открывали и закрывали вентиляционные проходы. В середине залы удовлетворенно восседала громадная Водительница, откладывая яйца, прислушиваясь к сообщениям по радио, испуская распоряжения или отдавая приказы о казнях, купаясь в море обожания. (Впоследствии он узнал от Мерлина, что у разных муравьев Водительницы вступают в должность по-разному. К примеру, у вида Bothriomyrmex честолюбивая основоположница Нового Порядка вторгается в гнездо вида Tapinoma и запрыгивает прежней тиранше на спину. После чего, укрытая запахом хозяйки, гостья без спешки отпиливает ей голову, пока не приобретет таким способом безусловных прав на руководящее положение.) В конце концов он так и не донес свой сироп до склада. Он выяснил, что ему надлежит разгуливать на манер живой стойки с закусками, обслуживая тех, кто работал внутри муравейника. Всякий, кому припадала охота поесть, останавливал его, заставлял открыть рот и кормился оттуда. Они не обращались с ним как с отдельной личностью да, в сущности, и сами личностями не обладали. Он был бессловесным лакеем, обслуживавшим бессловесных клиентов. Даже его желудок ему не принадлежал.

Однако нам не стоит входить в дальнейшие подробности относительно муравьев — это неприятная тема. Довольно сказать, что он терпеливо жил среди них, подлаживаясь к их обычаям, наблюдая их и пытаясь как можно больше понять, но не имея возможности задавать вопросы. Причина была не только в том, что язык их не обзавелся словами для обсуждения тем, интересующих человека, — и потому было невозможно спросить у них, верят ли они в Жизнь, в Свободу, в Стремление к Счастью, — но также и в том, что спрашивать что-либо было просто опасно. Любой вопрос представлялся им признаком сумасшествия. В их жизни вопросы отсутствовали: имелись только приказы. Артур ползал от гнезда к сиропу и обратно, восклицая, что песня про «мамми» очень милая, распахивая рот, чтобы срыгнуть, и пытаясь понять, что удастся.

Ему уже хотелось завыть, когда из туч появилась колоссальная рука, державшая соломинку. Рука поместила соломинку между двумя гнездами, до того разделенными, так что между ними образовался мост. Затем она исчезла.

9

Ближе к вечеру на новый мост забрел черный муравей, несчастный представитель fuscae, смирного народа, сражавшегося лишь из самозащиты. Его повстречал один из мусорщиков и тут же убил.

После доклада об этой новости радиовещание изменилось, — а вернее сказать, оно изменилось, едва лишь шпионы установили, что в гнезде fuscae также имеется блюдце с сиропом.

Вместо «Мамми-мамми-мамми» начали передавать «Муравия, Муравия превыше всего», а поток распоряжений стал перемежаться беседами о войне, патриотизме и экономическом положении. Роскошный голос поведал, что их обожаемое отечество окружено ордами вонючих fuscae, — и в ответ эфирные хоры запели:

Когда кровь fusca капает с клинка Прекрасна жизнь и радость велика.

Было также разъяснено, что Отец всех Муравьев в неизъяснимой мудрости своей заподведал, дабы черные мураши были вовек в рабстве у красных. В настоящее время у обожаемого отечества

вообще нет рабов — возмутительное положение, каковое надлежит исправить, дабы не исчезла драгоценная раса. Затем утверждалось, что под угрозой находится национальное достояние Сангвиниев. Их границы вот-вот будут нарушены, их домашний скот, жуков, того и гляди угонят, а их общинный желудок ссохнется от голода. Король внимательно прослушал две из этих бесед, чтобы запомнить их на будущее.

В первой доводы были расположены в следующем порядке:

А. Мы столь многочисленны, что голодаем.

Б. Поэтому нам следует не сокращать наше население, но всемерно увеличивать численность наших семейств, чтобы стать еще многочисленнее и голоднее.

В. Когда мы станем еще многочисленней и голоднее, мы, очевидно, обретем право отбирать у иных народов их сироп.

Помимо прочего, у нас к тому времени появится многочисленная и голодная армия.

Лишь после того, как это логическое построение получило практическое применение, и валовая продукция родильных приютов утроилась, — тем временем, благодаря Мерлину, оба гнезда ежедневно получали сироп в количествах,

покрывавших все их потребности, — ибо приходится признать, что голодающим нациям, по всей видимости, никогда не удается изголодаться до такой степени, чтобы они не могли позволить себе тратить на вооружение гораздо больше всех остальных, — только после того начались лекции второй разновидности.

Выглядели они так:

А. Мы гораздо многочисленнее их, а потому имеем право на их сироп.

Б. Они гораздо многочисленнее нас, а потому норовят бесстыдно украсть наш сироп.

В. Мы — могучая раса, а потому обладаем естественным правом поработить их жалкую расу.

Г. Они — могучая раса, и вопреки естеству норовят поработить нашу безобидную расу.

Д. Мы должны напасть на них ради самообороны.

Е. Обороняя себя, они нападают на нас.

Ж. Если сегодня мы на них не нападем, они нападут на нас завтра.

З. В любом случае мы вовсе не нападаем на них.

Мы несем им неисчислимые блага.

После обращений второго рода начались религиозные церемонии. Они, — как обнаружил

Король, — были унаследованы от баснословного прошлого, столь давнего, что для него и даты не подберешь, прошлого, в котором мураши еще не додумались до социализма. Церемонии восходили к тем временам, когда муравьи еще не утратили сходства с людьми, и некоторые из этих церемоний производили очень сильное впечатление.

Во время одной из них исполнялся псалом, начинавшийся, — с учетом языковых различий — хорошо известными словами: «Мечу подвластна земля и что наполняет ее, компасу бомбардировщика и им, что сеют бомбы с него», — и кончавшийся очень страшно: «Возлетите на воздух, врата, да поднимутся верхи ваши, и вы возлетите, двери вечныя, и войдет Царь Охранитель! Кто сей Царь Охранитель? Се Господь Призрачных Сил, Он — Царь Охранитель!»

Странно, но рядовых муравьев песнопения не воодушевляли, а лекции не интересовали. И то, и другое они принимали как данность. Для них это были ритуалы вроде песенок про «Мамми» или разговоров о Любимой Водительнице. Муравьи не относились к ним как к плохим или хорошим, волнующим, разумным или устрашающим. Они вообще их не воспринимали, но находили

Дельными.

Итак, настало время выступить на завоевание рабов. Приказы о подготовке к войне были отданы, солдаты вымуштрованы до последней степени, на стенах гнезда появились патриотические лозунги: «Сироп или Смерть?» или «Присягаю тебе, мой Запах!», и Король окончательно впал в отчаяние. Ему казалось, что он еще не видел столь жутких тварей, — разве что, когда жил среди людей, — и его начинало подташнивать от омерзения. Вечно звучащие прямо в голове голоса, от которых он не мог избавиться, невозможность уединения, ибо одни постоянно кормились прямо из его живота, а другие распевали в его мозгу, смертельная пустота, заместившая чувства, утрата всех оценок за исключением двух, всепроникающая даже не злоба, а монотонность,

— все это убивало в нем радостное ощущение жизни, которое в начале ночи подарил ему Мерлин. Он вновь чувствовал себя таким же несчастным, каким был, когда волшебник обнаружил его плачущим над бумагами, и вот, едва только Красная Армия выступила в поход, он вдруг, словно утратившее разум существо, развернулся к ней лицом посередине соломинки,

готовый ценой своей жизни не дать ей пройти.

10

— О, Господи, — сказал Мерлин, промокая носовым платком покрытый бисерным потом лоб, — у тебя просто талант влипать в неприятности. Ну и минута!

Животные встревоженно осмотрели Короля, желая убедиться, что он не поломал костей.

— Ты цел?

— Более чем.

Тут они обнаружили, что он взбешен. Руки его ходуном ходили от гнева.

— Скоты! — воскликцал он. — Скоты!

— Да уж, привлекательного в них мало.

— Я бы не возражал, — взорвался Король, — если бы ими владела злоба, если бы они намеренно предавались пороку. Я бы не возражал против этого, будь у них на хоть какая-то причина для жестокости, если бы это их хотя бы развлекало. Но они же ничего не понимают, они не совершают сознательного выбора. Они… они… их попросту не существует!

— Присядь, — сказал барсук, — передохни немного.

— Какие мерзкие твари! Разговаривать с ними — все равно, что с камнями, неспособными сдвинуться с места, или со статуями, или с машинами. Если ты произносишь что-то, не устраивающее машину, она срабатывает, если нет, — не срабатывает, стоит себе смирно, бессмысленно, без всякого выражения. Ах, Мерлин, как это страшно! Это же ходячие мертвецы. Когда они умерли? Хоть какие-то чувства прежде были у них? Сейчас — ни единого. Они похожи на дверь из сказки, которая отворяется, когда ей скажешь «сезам». По-моему, они знают от силы дюжину слов или их сочетаний. Человек, которому известны эти слова, может заставить их сделать все, на что они способны, а потом… Потом придется опять начинать сначала! Опять и опять, и опять! Как в аду. Только ни один из них не понимает, что он уже там. Они вообще ничего не понимают. Существует ли что-нибудь страшнее этого вечного движения, этого «давай-давай-давай» — без причины, без понимания, без перемен, без конца?

— А ведь пожалуй, — сказал Мерлин, — муравьи, в сущности, и представляют собой доподлинный Вечный Двигатель. Мне это как-то в голову не приходило.

— Самое страшное в них, что они похожи на

человеческие существа, не люди, но их подобия, дурные копии.

— В этом как раз ничего странного нет. Муравьи еще в бесконечном прошлом усвоили политическую доктрину, которой ныне тешится человек. Тридцать миллионов лет назад они довели ее до совершенства, после чего никакое дальнейшее развитие стало уже невозможным, и с той поры впали в застой. Для муравьев эволюция закончилась примерно за тридцать миллионов лет до Рождества Христова. Они создали совершенное коммунистическое государство.

Тут Мерлин благочестиво возвел глаза к потолку и прибавил:

— Мой старый друг Маркс, быть может, и был первостатейным экономистом, но, клянусь Духом Святым, как естествоиспытатель он решительно никуда не годился.

Барсук, имевший склонность ко всем относиться по-доброму, даже и к Карлу Марксу, у которого, кстати сказать, организация материала была почти столь же прозрачной, сколь у самого барсука, произнес:

— Вряд ли сказанное тобой является справедливо в отношении к истинному коммунизму. Я бы сказал, что муравьи больше походят на фашистов

Мордреда, чем на коммунистов Джона Болла…

— Это лишь разные стадии развития одного и того же. Достигнув совершенства, они становятся неразличимыми.

— Но в истинно коммунистическом мире…

— Дайте Королю вина, — распорядился Мерлин. — Ежик, о чем, интересно узнать, ты думаешь?

Ежик рысцой побежал за графином и принес оный, а с ним и стакан. Он сунул мокрый нос в королевское ухо и, обдавая Короля ароматами лука, хрипло зашептал:

— Мы за тобой приглядывали, точно. Ежику можешь верить. Ты бы их поколотил. Паршивые скоты. — Он покивал, расплекал мадеру и немного побоксировал в воздухе, держа в одном кулаке графинчик, а в другом стакан. — Гоп-гоп ура его куличеству, вот оно как, по-нашему. Мы говорим, дайте нам их уделать, жизнь положу за английские графства! Мы бы их и уделали, бим-бом, право слово, да только эти не дали.

Однако барсук не позволил увести себя в сторону. Едва Король получил вино, барсук терпеливо начал с того же самого места.

— Муравьи ведут войны, — сказал он, — и потому назвать их коммунистами невозможно. В

подлинно коммунистическом мире войн быть не может, поскольку все объединены в союз. Тебе не следовало забывать, что истинный коммунизм недостижим, пока все народы мира не проникнутся его идеями и не сольются в Союз советских социалистических республик. А муравейники, поскольку они не сливаются в единый союз, не являются вполне коммунистическими, вот потому-то они и воюют.

— Они не сливаются, — сварливо ответил Мерлин, — лишь по причине малости муравейников в сравнении с обширностью мира, и к тому же им мешают естественные препятствия — реки и так далее, делающие невозможной взаимную связь для существ подобного размера и со столь малым количеством пальцев. Впрочем, если тебя это устроит, я готов признать, что они — законченные хлыстуны, коим географические и физические особенности мира мешают превратиться в законченных лоллардов.

— Тогда тебе следует отказаться от твоей критики в адрес Карла Маркса.

— Мне следует отказаться от критики? — воскликнул философ.

— Да, ибо Маркс своим Союзом ССР, разрешил проблему нашего Короля, а именно, проблему

войны.

Мерлин посинел, откусил немалый кусок бороды, выдрал из головы несколько клочьев волос, швырнул их в воздух, вознес лихорадочную молитву о наставлении на истинный путь, уселся близ барсука и, взяв его за лапу, умоляюще заглянул в барсучьи очки.

— Да как же ты не понимаешь, — трогательно вопросил он,

— что разрешить проблему войны способен союз чего угодно? Невозможно же воевать, состоя в союзе, ибо войне должно предшествовать разделение. Если бы мир представлял собой союз бараньих отбивных, не было бы никаких войн. Но это же не значит, что всем нам следует спешно понаделать друг из друга бараньих отбивных.

— На самом-то деле, — после некоторого размышления промолвил барсук, — ты определяешь муравьев как фашистов или коммунистов не потому, что они воюют, а…

— Я объединяю все три секты по их основному признаку, которым в конечном счете является отрицание прав личности.

— Это мне понятно.

— Их теория, по сути своей, тоталитарна, и сводится она к тому, что люди или муравьи су-

ществуют для государства или общества, а не наоборот.

— А почему ты считаешь Маркса негодным естествоиспытателем?

— Вообще говоря, — сурово ответил волшебник, — особенности характера моего старого друга Карла находятся вне компетенции данного комитета. Будь добр помнить, что мы собрались не для того, чтобы разбираться с коммунизмом, наша основная проблема — это организованное убийство. Коммунизм занимает нас лишь постольку, поскольку он связан с войной. С этой оговоркой я отвечаю на твой вопрос следующим образом: Маркс был дурным натуралистом, потому что, во-первых, совершил серьезный промах, не исследовав человеческого черепа; затем потому, что не заинтересовался гусями, и наконец потому, что впал в заблуждение относительно равенства, каковое вообще противно природе. Люди равны в их достоинствах и талантах не более, чем в лицах и телосложении. С тем же успехом можно было потребовать, чтобы все люди на земле носили обувь одного размера. Вот эта-то смехотворная идея равенства и была принята муравьями более тридцати миллионов лет назад и, исповедуя ее столько времени, они ухитрились

претворить ее в истину. Ну и полюбуйся, в какой луже они оказались.

— Свобода, Равенство, Братство… — начал было барсук.

— Свобода, Разбой и Бесстыдство, — тут же отозвался волшебник. — Пожить бы тебе при революции, размахивающей этим лозунгом. Сначала его провозглашают, затем объявляют, что, исходя из высших соображений морали, необходимо уничтожить аристократов — дабы очистить партию или сплотить общество, или обезопасить дело демократии во всем мире, — а затем насилуют и убивают всех, до кого удается добраться, причем больше с горя, чем в гневе, — а то еще распинают людей, или подвергают пыткам, о которых я и говорить не хочу. Ты бы нюхнул Гражданской войны в Испании. Вот тебе человеческое равенство. Зарежь каждого, кто тебя превосходит, и очень скоро мы все будем равны. Как в покойницкой.

11

Неожиданно для всех заговорил T. natrix.

— Вы, люди, — сказал он, — не имеете никакого представления о Вечности, даром что все время болтаете о душах, чистилищах и о прочем. Если бы кто-нибудь из вас по-настоящему верил в Вечность или хотя бы в существование очень долгих периодов времени, вы бы крепко подумали, прежде чем решиться проповедовать равенство. Я и вообразить не могу ничего страшнее Вечности, заполненной совершенно одинаковыми людьми. Единственное, что делало жизнь сносной в далеком прошлом, это разнообразие живых существ на земном шаре. Если бы все были равны, если бы все принадлежали к существам одного рода, мы бы давно уже молили об эвтаназии. По счастью, в природе нет ничего похожего на равенство способностей, достоинств, возможностей или воздаяний. Слава Богу, каждое животное, принадлежащее к уцелевшим доныне видам, — если оставить в стороне муравьев и им подобных, — индивидуально до крайности. Иначе мы вымерли бы от скуки или превратились

в автоматы. Даже среди колюшек, на первый взгляд совершенно одинаковых, даже среди них имеются свои гении и тупицы, и все они соревнуются, норовя урвать какую-нибудь кроху еды, причем именно гении ее и получают. Когда-то жил на свете человек, который кормил своих рыбешек, опуская в аквариум стекляный кувшин с едой внутри. Некоторые колюшки нашли дорогу к корму с третьей-четвертой попытки и запомнили ее, другие же, насколько мне известно, ищут ее и до сей поры. Вот вам и равенство. И если бы не это, Вечность, лишенная различий, а значит и перемен, была бы слишком ужасной даже для созерцания.

— Все это совершенно не относится к делу. Мы, если не ошибаюсь, собрались, чтобы поразмышлять о войне.

— Виноват.

— Король, ты уже в состоянии встретиться с гусями, — спросил волшебник, — или тебе хочется отдохнуть?

— Невозможно, — прибавил он как бы в скобках, — толком подступиться к предмету нашего рассмотрения, пока в нашем распоряжении не будет всех необходимых фактов.

Старик ответил:

— Я полагаю, мне следует отдохнуть. Я уже не так молод, как был когда-то, даже после твоего массажа, ты же хочешь, чтобы я за малое время многое понял. Ты можешь дать мне несколько минут?

— Разумеется. Ночи нынче долгие. Ежик, обмакни-ка вот этот платок в винный уксус и положи ему на лоб. Всем остальным молчать и отодвиньтесь от него, ему нужно побольше воздуха.

И звери расселись по местам и сидели тихо, как мыши, пихая один другого в бок, если кому-то случалось кашлянуть, а Король закрыл глаза и, чувствуя к зверям благодарность, погрузился в свои мысли.

Слишком многого они хотят от него. Трудно научиться всему за одну только ночь, а он — всего лишь человек да к тому же и старый.

Возможно, Мерлину и вообще-то не следовало останавливать свой выбор на умученном заботами старике, перенесенном сюда из шатра под Солсбери. В детстве он ничем особым не выделялся, разве что привязчивостью, да и ныне до гения ему было далековато. Быть может, весь наш длинный рассказ посвящен, в конечном итоге, довольно бесцветному старому джентльмену, которому самое место было бы в Кранфорде или в

Баджерс-Грин, — сидел бы он себе там, занимаясь организацией деревенских соревнований по крикету или хоровых праздников.

Ему хотелось кое-что обдумать. Его лицо, его глаза, прикрытые набрякшими веками, давно уже утратили всякое сходство с мальчишескими. Он выглядел утомленным, и он был Королем, что заставляло всех остальных взирать на него с почтительностью, страхом и печалью.

Да, они хорошие, добрые существа, он в этом не сомневался. И он ценил их уважение к нему. Но их трудности не имели отношения к трудностям человека. Им, разрешившим проблемы своего общественного устройства задолго до самого появления человека, легко было, проявляя мудрость, заседать и рассуждать в их Колледже Жизни. Их благожелательность, их вино, пламя очага и заботливость по отношенияю друг к другом, — все это давалось им легче, чем ему, их орудию, давался его скорбный труд.

Не открывая глаз, Король мысленно обратился к реальному миру, из которого он явился сюда: жену у него отняли, лучший друг его изгнан, племянники убиты и собственный сын норовит вцепиться ему в горло. Но самым худшим было не то, что случилось с ним лично, — хуже всего, что

в это втянуты все его соотечественники. Звери правы, — и впрямь: свиреп человек. Они могли говорить об этом отвлеченно, с неким диалектическим ликованием, но для него это утверждение было конкретным: ему приходилось жить среди йеху из плоти и крови. Он и сам был из них, жестокий и глупый, как они, связанный с ними странной неразрывностью человеческого сознания. Он был англичанин, а Англия воевала. Как бы он ни ненавидел войну, как бы ни желал ее прекратить, он все равно тонул в реальном, хоть и неосязаемом море свойственных англичанину чувств, которыми не мог управлять. Пойти им наперекор, сразиться с морем, — на это он решиться не мог.

И ведь всю свою жизнь он трудился. Он сознавал, что человек он не даровитый. Направляемый нравственными принципами старика-ученого, овладевшего еще юной его душой, лишенный свободы и поглощенный им без остатка, нагруженный, словно Синдбад, насильно лишенный собственной личности и безжалостно призванный к умозрительному служению, он трудился на благо Страны Волшебства с тех пор, как помнил себя. Он даже не понимал во всей полноте того, что делает, будто тягловое животное, обреченное

тащиться по выбитой колее. И как он теперь осознал, за спиной его вечно стоял снедаемый верой, не знающий жалости Мерлин, а перед ним — человек: свирепый, тупой, аполитичный.

Ныне он понял: им нужно, чтобы он вернулся к своим трудам, еще более тяжким и нескончаемым. Именно в тот миг, когда он сдался, когда он заплакал от горечи поражения, когда старый вол рухнул на колею, именно тогда они и явились, чтобы пинками поднять его на ноги. Они явились, чтобы дать ему новый урок и принудить к дальнейшим трудам.

Он так и не узнал счастья, просто счастья для себя самого, да он и не принадлежал самому себе, — никогда, с той поры, как жил мальчишкой в Диком Лесу. Разве это честно — отнять у него все? Они превратили его в слепого щегла, о котором сами ему рассказали, в щегла, вынужденного услаждать людей своим пением, пока сердце его не разорвется, поющего, но уже навсегда слепого.

Теперь, когда они омолодили его, он ощутил могучую прелесть мира, которой они его лишили. Ему захотелось пожить хоть немного, — поваляться на земле, впитывая ее запахи, посмотреть, как anthropos, в небо и затеряться в облаках. Он

вдруг понял, что ни один человек, пусть даже живущий на самой далекой, самой голой океанской скале, не вправе жаловаться на однообразие ландшафта, пока он еще способен поднимать глаза к небесам. Ибо в небе каждый миг рождается новый ландшафт, и новый мир — в каждой лужице на скале. Ему захотелось уйти в отставку, пожить. Он не желал, чтобы его вновь послали назад, тянуть, не поднимая глаз, изношенное ярмо. Он и сейчас еще не очень стар. Он, может быть, еще сумеет прожить с десяток лет, но то будут годы без бремени, полные солнечного света и пения птиц, ибо птицы, без сомнения, поют и поныне, да только он перестал их замечать, не замечал бы и дальше, если бы звери ему не напомнили.

Разве это долг его — возвратиться назад к Homo ferox и, скорее всего, принять смерть от руки того, кому он пытался помочь, а если и не от руки, то уж наверняка умереть под ярмом,

— разве он не может отречься от этих трудов? Он мог бы уйти прямо сейчас, прямо из этого холма, и никто больше его не увидит. Пустынники Фиваиды, отшельники скалы Скеллиг-Мишель — им посчастливилось убежать от человека на лоно мирной природы. Именно этого, осенило его

вдруг, он и хотел: покоя и мира. В начале ночи он желал смерти и готов был ее принять, но теперь они позволили ему увидеть проблеск жизни, давнего счастья, того, что он когда-то любил. Они воскресили, каким бы жестоким не казалось это воскрешение, его отрочество. Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы ему, как в детстве, не довлели обязанности, он хотел удалиться от службы, быть может, уйти в монастырь, — уйти куда угодно, но дать хоть немного покоя своей старой душе.

Однако, они пробудили его от грез своими речами, своим жестоким, блестящим оружием.

— Итак, Король. Тебе следует повидаться с гусями, пока не кончилась ночь.

— Тебе полегче?

— Заклинание никому не попадалось?

— Что-то вид у тебя усталый.

— Глотни вина на дорожку.

12

Место, в котором он очутился, было совершенно плоским. В человечьем мире настоящая плоскость встречается редко, потому что дома, деревья, ограды иззубривают ландшафт. Трава и та тянется кверху бесчисленными стебельками. Но здесь, в утробе ночи, среди беспредельной, плоской, влажной грязи, напоминавшей черный творог, зацепиться глазу было решительно не за что. Даже если бы на ее месте простирался мокрый песок, и то бы он нес на себе отпечатки волн, схожие с нашими небными складками.

Лишь одна первородная стихия обитала на этой огромной равнине — ветер. Ибо здешний ветер был безусловно стихией. В нем ощущалось пространность, могущество тьмы. В человеческом мире ветер приходит откуда-то и куда-то уходит и, уходя, через что-то проходит — через деревья, улицы или ограды. Этот ветер приходил ниоткуда. И проходил через плоское ничто в никуда, в некие несуществующие места. Пологий, почти беззвучный, если не считать странного гула, осязаемый, бесконечный, ощеломляющий

протяженностью, он тяжко тек над грязью. Его контуры можно было очертить по линейке. Титанические серые линии его шли, не колеблясь и не прерываясь. Можно было повесить на него зонтик за гнутую ручку, и тот так бы и остался висеть.

На этом ветру Король ощущал себя как бы еще не сотворенным. Если не брать в расчет влажной твердыни под его перепончатыми лапами, он обитал в пустоте, в плотной, подобной хаосу, пустоте. Его ощущения были ощущеньями геометрической точки, загадочным образом существующей на кратчайшем пути между двумя другими: или же линии, прочерченной по плоской поверхности, у коей имеются ширина и длина, но никакого объема. Никакого объема! Да ветер и являл собою объем в чистом виде! В нем были мощь, текучесть, сила, устремленность и ровность мирового потока, неуклонно изливающегося в преддверия ада.

Впрочем и этому нечестивому чистилищу поставлены были пределы. Далеко на востоке, может быть в целой миле, стояла сплошная звуковая стена. Она нарастала, спадала, словно сжимаясь и разжимаясь, но оставалась сплошною. В ней слышалась угроза, она жаждала жертв, — ибо

там простиралось огромное, безжалостное море.

В двух милях к западу, виднелись треугольником три пятнышка света. То светились слабенькие лампадки в хижинах рыбаков, вставших пораньше, чтобы поймать прилив в запутанных протоках соленых болот, где вода порою текла противясь натиску океана. Тем и исчерпывались черты его мира — звук моря и три огонька: темень, пологость, пространность, влажность: и ровный поток ветра, вливающийся в бездонную ночь.

Когда забрезжил опасливый день, он обнаружил, что стоит посреди толпы подобных ему созданий. Одни сидели в грязи, теперь взбаламученной злыми мелкими водами возвращающегося моря, другие уже уплывали по этой воде, пробужденные ею, от надоедливого прибоя. Сидевшие имели сходство с большими чайниками, засунувшими носики под крылья. Плывущие время от времени окунали головы в воду и затем потрясали ими. Те, что проснулись еще до наступленья воды, стояли, с силой взмахивая крыльями. Глубокое безмолвие сменилось гоготом и болтовней. Их было сотни четыре в серой окрестности — замечательно красивых существ, диких белогрудых гусей, которых чело-

век, однажды видевший их вблизи, никогда уже не забудет.

Задолго до восхода солнца они уже изготовились к полету. Прошлогодние семейные выводки сбивались в стайки, а сами эти стайки проявляли склонность к объединению с другими стайками, возможно под водительством дедушки или даже прадедушки, или какого-то признанного вожака небесного воинства. Когда примерное разделение на отряды было завершено, в разговорах гусей обнаружилась нотка легкого возбуждения. Они принимались резко вертеть головами то в одну, то в другую сторону. А затем, развернувшись по ветру, все вместе вдруг поднимались на воздух, по четырнадцать или по сорок гусей разом, и широкие крылья их загребали темноту, и в каждом горле трепетал восторженный вопль. Сделав круг, они быстро набирали высоту и скрывались из виду. Уже на двадцати ярдах они терялись во мраке. Те, что снялись пораньше, не издавали особого шума До прихода солнца они предпочитали помалкивать, отпуская лишь случайные замечания или, если возникала какая-либо опасность, выкликая одну предупредительную ноту. Тогда, заслышав предупреждение, все вертикально взмывали в небо.

Им овладевало беспокойство. Темные эскадрильи над его головой, поминутно снимавшиеся с земли, заронили в него вожделение. Его томила потребность последовать их примеру, но он не чувствовал уверенности в себе. Может быть их семейные стаи, думал он, воспротивятся его вторжению. И все же ему не хотелось остаться в одиночестве. Ему хотелось соединиться с ними, насладиться обрядом утреннего полета, явно доставлявшего им удовольствие. В них ощущалось товарищество, вольная дисциплина и joie-de-vivre.

Когда сидевшая с ним рядом гусыня расправила крылья и подскочила, он машинально проделал то же. Около восьми его соседей уже несколько времени дергали клювами, и он подражал им, словно их действия были заразительными, и теперь вместе с той же восьмеркой он полетел по гладкому воздуху. В миг, когда он покинул землю, ветер пропал. Неугомонность и свирепость его сгинули, как отсеченные ножом. Он оказался внутри ветра, и внутри был покой.

Восьмерка гусей построилась в линию, строго выдерживая равные промежутки. Он оказался последним. Гуси летели к востоку, где занимался слабы свет, и вскоре перед ними стало всходить

ярое солнце. Далеко за простором земли оранжево-алая трещина пронизала гряду облаков. Сияние разрасталось, внизу завиделись соленые топи. Они открылись перед ним лишенными примет болотами или вересковыми пустошами, по воле случая ставшими частью моря, — их вереск, еще сохранивший сходство с вереском, сопрягался с морской травой, пока не измок и не просолился, и ветви его осклизли. Место ручьев, что текли бы сквозь пустошь, заняла морская вода, пробившая русла в синеватой грязи. Там и сям стояли на кольях длинные сети, в которые мог бы влететь невнимательный гусь. Они-то и были, как он догадался, причиной тех предостерегающих криков. Две-три свиязи свисали с сетей, и далеко на востоке человек, похожий на муху, с жалким упорством тащился по слякоти, чтобы собрать добычу в мешок.

Солнце, вставая, окрасило пламенем ртуть протоков и мерцающий ил. Кроншнепы, начавшие скорбно стенать еще до рассвета, теперь перелетали с одной травянистой отмели на другую. Свиязи, ночевавшие на воде, принялись высвистывать свои сдвоенные ноты, похожие на свист рождественских шутих. Против ветра поднимались с земли кряквы. Травники, словно

мыши, прыскали в стороны. Облачко крошечных чернозобиков, более плотное, чем стайка скворцов, разворачивалось в воздухе с шумом идущего поезда. С веселыми криками снималась с сосен, растущих на дюнах, черная воронья стража. Всяких видов береговые птицы облепили линию прибоя, наполнив ее оживлением и красотой.

Заря, заря над морем и совершенство упорядоченного полета были исполнены такой прелести, что ему захотелось запеть. Все его грустные мысли о человеке, жалкая потребность покоя, с таким запозданием овладевшая им в Профессорской, все это спало с него, едва он ощутил мощь своих крыльев. Ему захотелось влиться в хор, славящий жизнь, и поскольку вокруг него крылья несли тысячу гусей, долго ждать ему не пришлось. Смех и музыка мгновенно пронизали караваны этих созданий, подобно дыму струившихся по небу, грудью к встающему солнцу. Каждый отряд их пел на свой манер, кто проказливо, кто торжественно, кто чувствительно, кто с ликованием. Предвестники дня заполнили рассветное небо, и вот что они запели:

О мир, под крылом кружащий, простри персты перламутра!

Солнце седое, сияй белогрудым баловням утра!

Багряные блики зари узри на груди гордой,
Услышь, как в каждой гортани гудят органы и горны!

Внемлите, черные тучи кочующего батальона,
Рожкам и рычанию гончих, гаму небесного гона!

В далекие дали, далеко, вольны и велики,
Уходят Anser albifrons, их песни и клики.

13

Стоял уже день, Король прогуливался по неровному полю. Вокруг паслись товарищи по полету, выдергивая траву боковыми рывками мягких маленьких клювов, извивая шеи крутыми дужками, столь отличными от грациозных лебединых изгибов. И пока они так кормились, кто-то из их числа непременно стоял на страже, задрав по-змеиному голову. В недавние зимние месяцы, а то и в прежние зимы они разбились на пары, разбиение это сохранялось и там, где паслось семейство или целый летучий отряд. Молодая самочка, спавшая бок о бок с ним на грязевой равнине, была однолеткой. Она то и дело поглядывала на него умным глазом.

Старик, вспомнивший вдруг свое отрочество, украдкой оглядел ее, и она показалась ему очень красивой. Он почувствовал даже как в нем просыпается что-то вроде нежности к ее пушистой грудке, покамест совершенно лишенной полосок, к ее полненькому плотному тельцу и приятным складочкам на шее. Эти складки, как он краем глаза заметил, создавались разностью в опере-

нии. Ряды вогнутых перышков отделялись один от другого, образуя подобие бахромы, которую он находил чрезвычайно изящной.

Наконец, юная дама подпихнула его клювом. Она как раз была часовым.

— Валяй, — по-простецки сказала она, — ты следующий.

Не дожидаясь ответа, она опустила голову и, продлив то же движение, выдернула травинку. Так, кормясь, она постепенно отдалилась от него.

Король стоял на часах. Он не знал, за чем ему должно следить, и не видел никакого врага — только и было кругом, что кочки да его пасущиеся сотоварищи, но не жалел, что ему доверили быть часовым. Он с удивлением осознал, что готов без всякого неудовольствия демонстрировать свою мужественность, особенно если есть надежда, что дама станет за ним наблюдать. Даже прожив такое множество лет, он сохранил невинность, позволявшую ему не питать уверенности в том, что наблюдать за ним она станет непременно.

— Что это ты делаешь? — спросила она, когда спустя полчаса ей случилось проходить мимо.

— Стою на страже.

— Да ну тебя, — сказала она, хихикнув — или

правильнее сказать «гоготнув»? — Глупенький!

— Почему?

— Да брось ты. Сам знаешь.

— Честно, не знаю, — сказал он. — Я что-то не так делаю? Мне непонятно.

— Клюнь следующего. Ты перестоял уже самое малое вдвое больше положенного.

Он сделал, как ему было сказано, и ближайший гусь принял у него вахту, а Король подошел поближе к гусыне и стал пастись рядом с ней. Они пощипывали траву, косясь друг на дружку бисеринами глаз, пока он наконец не собрался с духом.

— Я показался тебе глуповатым, — застенчиво сказал он, впервые за все свои встречи с разным зверьем решившись открыть свою истинную видовую принадлежность, — но это потому, что я вообще-то не гусь. Я был рожден человеком. Я в первый раз попал к серому народу.

Она удивилась, но не сильно.

— Это бывает не часто, — сказала она. — Люди обычно стремятся стать лебедями. Последними у нас тут побывали дети Короля Лира. Впрочем, насколько я понимаю, все мы из семейства гусиных.

— О детях Лира я слышал.

— Им тут не понравилось. Они оказались безнадежными националистами, и такие религиозные были, — все время вертелись вокруг одной ирландской часовни. Можно сказать, что других лебедей они вообще старались не замечать.

— А мне у вас нравится.

— Это я заметила. Тебя зачем прислали?

Они попаслись в молчании, пока собственные слова не напомнили ему о его миссии.

— Часовые, — сказал он. — Мы что, воюем?

Она не поняла последнего слова.

— Воюем?

— Ну, деремся с другим народом?

— Деремся? — неуверенно переспросила она. — Мужчины, бывает, дерутся — из-за своих жен и так далее. Конечно, без кровопролития, — так, немножко помутузят друг друга, чтобы выяснить, кто из них лучше, кто хуже. Ты это имел в виду?

— Нет. Я имел в виду сражения армий — например, с другими гусями.

Это ее позабавило.

— Интересно! Ты хочешь сказать, что собирается куча гусей и все одновременно тузят друг друга? Смешное, наверное, зрелище.

Тон ее удивил Короля.

— Смешно смотреть, как они убивают друг

друга?

— Убивают друг друга? Гусиные армии, и все убивают друг друга?

Медленно и неуверенно она начала постигать эту идею, и по лицу ее разливалась гадливость. Когда постижение завершилось, она пошла от него прочь. И молча ушла на другую сторону поля. Он последовал за ней, но она повернулась к нему спиной. Он обошел ее кругом, чтобы заглянуть ей в глаза, и испугался, увидев в них выражение неприязни, — такое, словно он сделал ей некое непристойное предложение.

Он неуклюже сказал:

— Прости. Ты меня не так поняла.

— Прекрати эти разговоры!

— Прости.

Немного погодя он с обидой добавил:

— По-моему, нельзя запрещать человеку спрашивать. А из-за часовых вопрос представлялся естественным.

Оказалось однако, что разозлил он ее донельзя, едва не до слез.

— Сейчас же прекрати эти разговоры! Хорошенькие мысли, должно быть, тебя посещают, мерзость какая! Ты не имеешь никакого права говорить подобные вещи. Разумеется, у нас есть

часовые. Здесь водятся и кречеты, и сапсаны, ведь так? — и лисы, и горностаи, да и люди с сетями. Это естественные враги. Но какая же тварь дойдет до такой низости, чтобы убивать существ одной с нею крови?

Он подумал: жаль, что не существует крупных зверей, которые охотились бы на человека. Если бы в мире было достаточно драконов и птиц Рух, человечество, возможно, обратило бы свою мощь против них. К несчастью, никто кроме микробов на человека не охотится, а микробы слишком малы, чтобы человек признал в них достойного противника.

Вслух он сказал:

— Я пытался понять.

Она сделала над собою усилие, заставляя себя проявить снисходительность. Было в ней что-то от синего чулка, — она полагала необходимым придерживаться по возможности широких взглядов.

— Похоже, до этого тебе еще далеко.

— А ты научи меня. Расскажи мне все про гусиный народ, чтобы в мозгах у меня прояснилось.

Она испытывала некоторые сомнения, — после ужаса, в который он ее поверг, — но душа у нее была добрая. Она, как и всякий гусь, была снисхо-

дительной, и прощение давалось ей легко. Вскоре они подружились.

— Так что ты хотел бы узнать?

В следующие несколько дней он обнаружил (ибо они проводили вместе немало времени), что Ле-лек — совершенно очаровательная особа. Она назвала ему свое имя в самом начале их знакомства и посоветовала ему тоже обзавестись именем. Имя они выбрали вместе: Ки-куа — высокий титул, позаимствованный у редких красногрудых гусей, которых она встретила однажды в Сибири. После того, как с именем все было улажено, Ле-лек всерьез взялась за его образование.

Голову Ле-лек занимал не один только флирт. На свой рассудительный манер она живо интересовалась особенностями окружающего ее обширного мира и хотя вопросы Артура порой ставили ее в тупик, она быстро научилась относится к ним без отвращения. Вопросы эти по большей части основывались на опыте, приобретенном им среди муравьев, потому-то они ее и озадачивали.

Его интересовал национализм, государственный контроль, личная свобода, проблема собственности и тому подобное, — все то, о чем

говорилось в Профессорской, и что он сам наблюдал в муравейнике. Большую часть этих понятий ей приходилось растолковывать, прежде чем она могла приступить к каким-либо объяснениям, так что разговоры у них получались интересные. Беседовали они по-дружески, и по мере того, как образование его подвигалось вперед, старый Король с удивлением обнаружил, что начинает испытывать к гусям глубокое почтения и даже любовь: подобие тех чувств, какие, видимо, испытывал Гулливер, живя среди лошадей.

Нет, объясняла она, никакого государственного контроля серый народ не знает. У него отсутствует общественная собственность, равно как и притязания на какую-либо часть земного шара. Этот прелестный шар, полагали они, не может принадлежать кому бы то ни было, кроме себя самого, доступ же к природным ресурсам открыт для всех гусей в равной степени. Точно так же и никакая государственная дисциплина не навязывалась какой бы то ни было отдельной птице. Рассказ о муравье, приговоренном к смерти за то, что он, возвратившись в муравейник, отказался отрыгивать пищу, глубоко возмутил ее. У гусей, говорила она, каждый съедает столько, сколько способен вместить, но если ты полезешь туда, где

кормится птица, обнаружившая участок с сочной травой, она тебя долбанет клювом и правильно сделает. Да, подтверждала она, у гусей имеется частная собственность и помимо еды, — супружеская пара год за годом возвращается в одно и то же гнездо, хотя в промежутках ей, может быть, и приходится покрывать расстояния в несколько тысяч миль. Гнездо — дело частное, как и супружеская жизнь. Гуси, объясняла она, не склонны к беспорядочным любовным связям, разве что в ранней молодости, а в эту пору, как она полагала, так тому и быть надлежит. Когда они женятся, они женятся на всю жизнь. Политические же их воззрения, если у них вообще таковые имеются, патриархальны или индивидуалистичны и имеют своей основой свободу выбора. И уж конечно, никаких войн гуси не ведут.

Он поинтересовался, как у них обстоит дело с вождями. Очевидно было, что определенные гуси признаются в качестве вождей, — как правило, маститые старые джентльмены с крапчатой грудью, — и что эти вожди возглавляют караваны во время полета. Припомнив муравьиных Королев, которые, подобно членам семейства Борджиа, резали одна другую в борьбе за высшие посты, он поинтересовался, каким образом избираются

гусиные капитаны.

Они не избираются, отвечала она, во всяком случае при этом не соблюдается никаких формальностей. Они просто становятся капитанами.

Когда он начал допытываться подробностей на этот счет, она разразилась длинной речью, касающейся перелетов. Вот что она рассказала:

— Мне кажется, — говорила она, — первый гусь, совершивший перелет из Сибири в Линкольншир и обратно, вернувшись, завел в Сибири семью. И вот, когда наступила зима и нужно было заново искать, чем прокормиться, он, должно быть, сумел кое-как отыскать ту же дорогу, ведь кроме него никто ее не знал. Год за годом он водил по ней свое разросшееся семейство, став его лоцманом и адмиралом. Когда ему пришла пора умирать, видимо, лучшими лоцманами оказались старшие его сыновья, поскольку они чаще других проделывали этот путь. Естественно, сыновья помоложе, не говоря уже о юнцах, не очень-то хорошо знали дорогу и потому были рады последовать за кем-то, кто ее знал. Возможно, и среди сыновей постарше имелись такие, что были известны своей бестолковостью, так что семья доверяла не всякому.

— Вот так, — говорила она, — и выбирается

адмирал. Может быть, этой осенью к нам в семью заглянет Винк-винк и скажет: «Извините, среди вас нет ли случайно надежного лоцмана? Бедный старый прадедушка скончался, когда поспела морошка, а от дядюшки Онка проку немного. Мы ищем кого-нибудь, за кем можно лететь следом.» И мы тогда скажем: «Двоюродный дедушка будет рад, если вы составите нам компанию, но только имейте в виду, если что-то пойдет не так, мы не отвечаем.» «Премного благодарен, — ответит он. — Уверен, что на вашего дедушку можно положиться. Вы не будете возражать, если я расскажу об этом Гогону, у них, сколько я знаю, такие же трудности?» «Нисколько.»

— В точности так, — пояснила она, — двоюродный дедушка и стал адмиралом.

— Хороший способ.

— Видишь, какие у него нашивки, — уважительно прибавила она, и оба посмотрели на дородного патриарха, грудь которого, действительно, украшли черные полосы — вроде золотых кругов на рукаве адмирала.

В другой раз он поинтересовался у нее, каковы суть радости и честолюбивые устремления гусей. Извинившись, он объяснил ей, что человеческие существа, пожалуй, склонны были бы счесть

скучноватой жизнь, не отмеченную эффектными приобретениями, пусть даже сделанными в ходе войны.

— Люди, — сказал он, — стараются запасти как можно больше украшений, сокровищ, предметов роскоши, испытать как можно больше наслаждений и так далее. Это дает им цель в жизни. Говорят также, что это приводит к войнам. Боюсь, однако, что если людское достояние свести к тому минимуму, которым удовлетворяются гуси, люди почувствуют себя несчастными.

— Определенно почувствуют. Мозг у них и у нас устроен по-разному. Если ты попытаешься заставить людей жить в точности так, как живут гуси, они станут такими же несчастными, какими стали бы гуси, заставь их вести человеческое существование. Но это не означает, что нам нечему поучиться друг у друга.

— Я начинаю думать, что от нас гуси многому не научатся.

— Мы прожили на земле дольше вас, бедняжек, на миллионы лет, так что винить вас тут особенно не в чем.

— Но расскажи же мне, — попросил он, — каковы ваши удовольствия, устремления, цели — или как вы их называете? Они ведь должны быть

довольно ограниченными, нет?

Услышав это, она рассмеялась.

— Основная цель нашей жизни, — забавляясь, сказала она,

— состоит в том, чтобы жить. По-моему, вы, люди, как-то о ней позабыли. Что до наших удовольствий, то они, если сравнить их с украшениями и сокровищами, не так уж и скучны. У нас есть песня о них, которая называется «Радость жизни».

— Спой мне ее.

— Спою, подожди минуту. Я просто обязана сказать тебе, как мне всегда было обидно, что в ней ничего не говорится об одной из величайших наших радостей. Те, чьи имена называются в этой песне, вроде бы спорят относительно известных гусям удовольствий, но никто из них не вспоминает о странствиях. По-моему, это глупо. Мы путешествуем в сотни раз дальше, чем люди, видим такие интересные вещи, переживаем столько восхитительных перемен, — все время что-нибудь новое, — и я не могу понять, как это случилось, что поэт о них позабыл. Да что говорить, моя бабушка летала в Миклегарт, у меня есть дядя, который побывал в Бирме, а прадедушка вообще уверял, что ему случалось залетать

даже на Кубу.

Король знал, что Миклегарт — это скандинавское название Константинополя; о Бирме он слышал лишь от T. natrix'a, а до Кубы в то время вообще никто еще не додумался, так что все сказанное произвело на него должное впечатление.

— Как это, наверное, чудесно — путешествовать, — сказал он.

Он подумал о красоте крыльев, о песнях полета, о том, как мир, вечно новый и новый, кружит под крыльями гусей.

— Вот эта песня, — без дальнейших предисловий сказала она и нежным голосом спела ее так, как поют дикие гуси:

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

И ответил Ки-йо: кто здоров, тот и рад, -

Крепость ног, гладкость крыл, гибкость шей, ясность глаз:

Нет на свете лучших наград!

Старый Анк отвечал: честь дороже даров, -

Искатель путей, кормилец гусей, хранитель, а равно податель идей:

Вот кто слышит небесный зов!

А резвушка Ле-лек: Любовь, господа!

Нежность очей, учтивость речей, прогулки вдвоем и гнездо вечерком:

Они пребудут всегда!

Был Анг-унг за желудок: Ах, еда! — он сказал. -

Стебли травы, колкость стерни, злато полей, сытость гусей:

Это выше всяких похвал!

Братство! — крикнул Винк-винк, -

Вольный дружества жар!

Построение в ряд, караванный отряд, все, как один, и заоблачный клин:

Вот в чем Вечности истинный дар!

Я же, Льоу, выбрал пенье — веселье сердец, —

Музыка сфер, песни и смех, слезы тишком и мир кувырком:

Все это Льоу, певец.

По-своему это чудесная песня, думал он, тронутый ее тяжеловесной нежностью. Он начал было подсчитывать перечисленные в ней радости, загибая пальцы, но поскольку пальцев было всего

только три впереди да еще один бугорок сзади, пришлось каждый палец использовать дважды. Странствия, здоровье, честь, любовь, аппетит, дружество, музыка, поэзия и, как сказала Ле-лек, жизнь сама по себе.

Недурной получился список при всей его простоте, особенно если учесть, что она могла бы добавить к нему что-нибудь вроде Мудрости.

14

Волнение в войске все нарастало. Молодые гуси вовсю флиртовали или сбивались в кучки — поговорить о своих лоцманах. Время от времени они затевали вдруг игры, будто дети, возбужденные предвкушением праздника. Одна из игр была такая: все становились в кружок, и совсем молодые гуси выходили один за другим в середину, вытянув шеи и притворяясь, что вот-вот зашипят. Дойдя до середины, они припускались бежать, хлопая крыльями. Это они показывали, какие они смельчаки и какие отличные выйдут из них адмиралы, стоит только им подрасти. Распространялась, кроме того, странная манера мотать из стороны в сторону клювом, что обыкновенно делается перед тем, как взлететь. Нетерпение овладело и старейшинами, и мудрецами, ведающими пути перелетов. Знающим взором они озирали облачные массы, оценивая ветер, — какова его сила и по какому, стало быть, румбу следует двигаться. Адмиралы, отягощенные грузом ответственности, тяжелой поступью меряли шканцы.

— Почему мне так неспокойно? — спрашивал он. — Словно что-то бродит в крови?

— Подожди, узнаешь, — загадочно говорила она. — Завтра, может быть, послезавтра…

И в глазах ее появлялось мечтательное выражение, словно бы говорящее: «давным-давно» или «далеко-далеко отсюда».

Когда день настал, все изменилось на грязной пустоши и в соленых болотах. Похожий на муравья человек, с такой терпеливостью выходивший на каждой заре к своим длинным сетям, с расписаньем приливов, накрепко запечатленным у него в голове,

— ибо ошибка во времени означала для него верную смерть, — заслышал в небе далекие горны. Ни единой из тысяч птиц не увидел он ни на грязной равнине, ни на пастбищах, с которых пришел. Он был по своему неплохим человеком, — он торжественно выпрямился и стянул с головы шапку. То же самое он набожно проделывал и каждой весной, когда гуси покидали его, и каждой осенью, — завидев первую из вернувшихся стай.

Далек ли путь через Северное Море? У парохода он занимает два или три дня, — так долго тащится судно по этим зловещим водам. Но для

гусей, мореходов воздуха, для острых их клиньев, в лохмотья раздирающих облака, для певцов, что, обгоняя бурю, поют в эмпиреях, делая час за часом по семьдесят миль, для этих странных географов, (здесь подъем на три мили, так они говорят), плывущих не по водам, но по дождевым облакам, — чем для них был этот путь? Прежде всего, счастьем.

Король еще не видел своих друзей в таком ликовании. Оно наполняло их песни, распеваемые без остановки. Были среди них грубоватые, каковые мы оставим до другого раза, были несравненно прекрасные саги, были и песни до крайности легомысленные. Одна, довольно глупая, очень позабавила короля:

Иные в дорогу зовут берега, Но травкою грязные манят луга — Гу-гу-гу! Ги-ги-ги! Га-га-га!

Не шеи у нас, а подобье дуги — Их словно бы слесарь согнул в три поги…

Га-га-га! Гу-гу-гу! Ги-ги-ги!

Мы травку пощипываем на лугу — И другу здесь хватит, и хватит врагу!

Ги-ги-ги! Га-га-га! Гу-гу-гу!

Гу-гу-гу! Га-га-га! Нам грязь дорога!

Га-га-га! Ги-ги-ги! Трогать нас не моги!

Хорошо на лугу нам в семейном кругу!

Ги-ги-ги! Га га-га! Гу-гу-гу!

Была еще чувствительная:

Дикий и вольный, спустись с высока И верни мне любовь моего гусака.

А однажды, когда они пролетали над скалистым островом, населенным казарками, похожими на старых дев в кожаных черных перчатках, серых шляпках и гагатовых бусах, вся эскадрилья разразилась дразнилкой:

Branta bernicla сидела в грязи, Branta bernicla сидела в грязи, Branta bernicla сидела в грязи, А мы пролетали мимо.

Вот мы летим, дорогая, гляди, Вот мы летим, дорогая, гляди, Вот мы летим, дорогая, гляди, На Северный Полюс, мимо.

Но что проку рассказывать о красоте? Дело состояло попросту в том, что жизнь была до невероятия прекрасной, — радостью, достойной того, чтобы ее пережить.

Порой, опускаясь с уровня перистых облаков, чтобы поймать благоприятный ветер, они попадали в облачные стаи — огромные башни, вылепленные из водных паров, белые, как отстиранное в понедельник белье, и плотные, как меренги. Случалось, что одно из этих небесных соцветий, снежно-белый помет колоссального

Пегаса, оказывалось в нескольких милях перед ними. Они прокладывали курс прямо на облако и смотрели, как оно разрастается, безмолвно и неуследимо, лишенным движения ростом,

— и наконец, когда они приближались к нему вплотную, и казалось, вот-вот должны были больно удариться носами о его по видимости плотную массу, солнце начинало тускнеть, и туманные призраки вдруг обвивали их на секунду, сплетаясь, словно небесные змеи. Их облегала серая сырость, и солнце медной монетой скрывалось из виду. Крылья ближайших соседей истаивали в пустоте, пока каждая птица не обращалась в одинокий звук посреди стужи уничтожения, в развоплощенное привидение. Потом они висели в лишенном примет небытии, не ощущая ни скорости, ни левого с правым, ни верха, ни низа, покамест с той же, что прежде, внезапностью не накалялся заново медный грош, и не свивались за спиной небесные змеи. И через миг они опять попадали в самоцветно сверкающий мир с бирюзовым морем внизу, с вновь отстроенными блистательными дворцами небес, и с еще не просохшей росой Эдема.

Одними из лучших минут перелета стали те, которые они провели, минуя скалистый остров

в океане. Были и другие, например, когда их строй пересекся с караваном тундровых лебедей, направлявшихся в Абиско и издававших на лету такие звуки, словно щенячий выводок тявкал, прикрывшись носовыми платками, или когда им повстречался виргинский филин, в мужественном одиночестве вершащий свой трудный полет, — в теплых перьях у него на спине, так они уверяли, совершал даровой переезд малютка-крапивник. Но одинокий остров был лучше всего.

На нем раскинулся птичий город. Все его жители сидели на яйцах, все переругивались, но отношения между ними были самые дружеские. На верхушке утеса, поросшей короткой травкой, мириады тупиков старательно рыли норы. Чуть ниже, на проспекте Гагарок, птиц набилось столько и на такие узкие полки, что им приходилось стоять, повернувшись спиною к морю и крепко держась за камень длинными пальцами. Еще ниже, на улице Чистика, толпились эти самые чистики, задирая в небо узкие игрушечные личики, как делают сидящие на яйцах дрозды. В самом низу находились Моевкины трущобы. И все эти птицы, откладывавшие, подобно человеку, по одному яйцу каждая, жили в такой тесноте, что трудно было разобрать, где

чья голова, — пресловутого нашего жизненного пространства им не хватало настолько, что если новая птица настойчиво пыталась усесться на полке, с нее в конце концов сваливалась одна из прежних ее обитательниц. И при этом все отличались добродушием, веселились, ребячились и поддразнивали друг дружку. Они походили на неисчислимую толпу рыбных торговок, собранных на самой обширной в мире спортивной трибуне, занятых личными препирательствами, что-то поедающих из бумажных кульков, отпускающих шуточки в адрес судьи, распевающих комические куплеты, вразумляющих детишек и сетующих на мужей. «Подвиньтесь-ка малость, тетенька», — говорили они, или: «Протиснись вперед, бабуся»; «Тут идет эта Флосси и садится прямо на креветок»; «Положи ириску в карман, дорогуша, и высморкайся»; «Глянь-кось, это там не дядя Альберт с пивком?»; «Можно я тут приткнусь, я маленькая»; «А вон и тетя Эмма тащится, все-таки сверзилась с полки»; «Шляпка моя не съехала?»; «Эк она раздухарилась!»

Птицы одной породы старались более или менее держаться своих сородичей, но и в этом особой мелочности не проявляли. На проспекте Гагарок там и сям попадались упрямые моевки,

сидевшие на каком-нибудь выступе в твердом намерении бороться за свои права. Всего их там было, наверное, с полмиллиона, и шум от них стоял оглушительный.

Король поневоле задумался, как при таких обстоятельствах пошли бы дела в городе, населенном разными расами.

Затем еще были фиорды и острова Норвегии. Кстати сказать, как раз на одном из тех островов услышал великий В.Г. Хадсон подлинную гусиную историю, над которой не грех задуматься человеку. Жил, рассказывает он нам, на побережьи крестьянин, на чьих островах не было покоя от лис, так что он на одном из них поставил лисий капкан. Назавтра, навестив этот остров, он обнаружил, что в капкан попался старый дикий гусь, видимо, Великий Адмирал, если судить по его крепости и нашивкам. Крестьянин не стал его убивать, а снес домой, подрезал крылья, связал ему ноги и выпустил во двор к своим уткам и курам. Так вот, одно из следствий лисьей докучливости состояло в том, что крестьянину приходилось крепко запирать птичник на ночь. Обыкновенно он выходил под вечер, чтобы загнать туда птицу, а потом запирал дверь. Несколько времени погодя, он приметил одно

удивительное обстоятельство, а именно — куры, которых приходилось раньше собирать по всему двору, теперь дожидались его в сарае. Как-то под вечер он проследил за происходящим и обнаружил, что старый дикий гусь взял на себя работу, значенье которой сумел постигнуть присущим ему разумением. Каждым вечером, ближе ко времени, когда запирался курятник, умудренный старик-адмирал обходил своих домашних товарищей, главенство над коими он на себя возложил, и, обходясь одними лишь собственными силами, благоразумно сгонял их в положенное место — так, словно полностью понимал, для чего это делается. Что же до диких гусей, в былое время летавших следом за ним, они никогда уже не садились на тот остров, — прежде всегда посещавшийся ими, — где был похищен их капитан.

И вот наконец, после всех островов они приземлились в конечном пункте первого дня перелета. О, какое заслышалось восторженное бахвальство, какие всякий обращал к себе поздравления! Они падали с неба, ложась на крыло, выписывая фигуры высшего пилотажа и даже входя в штопор. Они испытывали гордость за себя и за своего лоцмана и нетерпенье при мысли об ожидающих их впереди семейственных наслаждениях.

Перед самой землей они начинали планировать, изогнув крылья книзу. В последний миг, сильно хлопая крыльями, они ловили в них ветер, и следом — плюх! — оказывались на земле. С минуту подержав крылья над головой, они их складывали, быстро и аккуратно. Они пересекли Северное море.

15

Сибирское болото, до которого они добрались через несколько дней, казалось чашей, наполненной солнечным светом. На обступавших его горах еще лежал кружевной снег, который, тая, стекал вниз маленькими речушками, пенистыми, словно эль. Озера посверкивали, накрытые комариными тучами, а среди росших по их берегам карликовых берез слонялись безвредные северные олени, с любопытством принюхиваясь к гусиным гнездам, и гуси, шипя, отгоняли их прочь.

Ле-лек, хоть еще и незамужняя, сразу принялась устраивать место для будущего потомства, так что у Короля образовался досуг, можно было подумать.

Человеком он был доверчивым и уж во всяком случае незлобливым. Предательство, коим вознаградили его труды представители человеческой расы, еще только начинало давить на его сознание тяжким грузом. Он пока не сказал сам себе всей незатейливой правды, но правда эта состояла в том, что его предали все до единого, даже

жена и старейший друг. Сын был еще не самым большим предателем. Созданный Королем Круглый Стол восстал против него, во всяком случае, половина Стола, то же проделала и половина его страны, той самой, для блага которой он трудился всю свою жизнь. Теперь его просили вернуться и снова начать служить предавшим его людям, и он наконец-то понял, — впервые, — что это равносильно погибели. Ибо на что он может надеяться, обретаясь среди людей? Со времен Сократа люди почти неизменно убивали любого порядочного человека, воззвавшего к ним. Они и Бога-то своего убили. Всякий, возвещавший им истину, становился узаконенным объектом предательства, и стало быть приговор, который Мерлин выносил Королю, был смертным приговором.

Здесь же, среди гусей, у которых предательство и убийство приравнивались к непристойности, он, в конце концов, испытал осознанное счастье и покой. Здесь было на что надеяться существу, не лишенному сердца. Случается иногда, что уставший человек, наделенный верой и склонностью к монашеской жизни, ощущает неодолимую потребность удалиться в обитель, в такое место, где душа его раскроется, словно цветок, и станет расти, осуществляя присущее ей представление

о добре. Вот такую потребность и испытывал ныне старый Король, с той лишь разницей, что его обителью было пронизанное солнцем болото. Ему захотелось оставить людей и, наконец, обустроить свою жизнь.

Обустроить ее с Ле-лек, например: ему казалось, что для усталой души это самое лучшее. Он сравнивал ее с другими женщинами, которых знал, и сравнение зачастую оказывалось в ее пользу. Она была здоровее их — ни тебе мигреней, ни прихотей, ни истерик. Она была такой же здоровой, как он сам, такой же сильной, такой же умелой летуньей. Не существовало ничего, что он мог бы сделать, а она не могла, стало быть, общность их интересов была идеальной. Она была понятлива, рассудительна, верна, с ней приятно поговорить. И к тому же она чистоплотнее большинства женщин, ибо проводит половину дня за чисткой перышков, а другую за купанием, и лицо у нее никакой липкой краской не выпачкано. Уж она-то, выйдя замуж, не станет обзаводиться любовниками. Да и красивее она, чем большая часть женщин, ибо фигура ее создана природой, а не искусными ухищрениямие. Она изящна, не ковыляет на ходу, — собственно, и у всех диких гусей походка легкая, — и оперение у нее на его

взгляд красивое. И она будет любящей матерью.

Он нашел, что испытывает к Ле-лек, если и не страсть, то очень теплое чувство. Ему были милы ее крепкие лапки с утолщениями наверху, ее аккуратный клюв. На клюве имелись зазубринки, вроде зубов, а крупный язык, казалось, целиком заполнял его изнутри. Ему нравилось, что она никогда не спешит.

Приготовление гнезда увлекало ее так, что приятно было смотреть. Гнездо нельзя было назвать шедевром зодчества, но своему назначению оно вполне соответствовало. Ле-лек очень волновалась, выбирая траву, и когда выбор, наконец, был сделан, она устлала торфяную ямку, донышко которой напоминало мягкую, бурую, влажную и смятую промокашку или еще цирковые опилки, вереском, лишайником, мхом и пухом с собственной грудки, мягким, как паутина. Он несколько раз приносил ей в подарок пучки травы, но трава, как правило, оказывалась неподходящей формы. Собирая эту траву, он по чистой случайности обнаружил, сколь восхитительную вселенную являло собою болото, на котором они обитали.

Ибо то был мир в миниатюре, подобный тем, которые, как рассказывают, выращивают в особых чашах японцы. Ни одному японскому

садовнику еще не удавалось вырастить карликовое деревце, столь же схожее с настоящим, сколь стебель вереска, на котором через равные промежутки расположены утолщения, напоминающие пуговичные петли. Здесь, на болоте, у ног Короля расстилались целые леса карликовых деревьев со своими прогалинами и ландшафтными видами. Густейший мох заменял траву, лишайник — подлесок. Здесь живописно лежали рухнувшие стволы, имелись даже странноватого вида цветы — крохотные серо-зеленые стебельки, очень сухие и колючие, с алым шариком наверху, вроде сургучной печати. Здесь росли микроскопические грибы, только шляпки у них заворачивались кверху, напоминая подставку для яиц. А по иссохшему лесу сновали, вместо кроликов и лисиц, отливающие маслянистой чернотой жучки, оправлявшие свои крылья, вращая заострёными хвостиками. Они походили более на волшебных драконов, чем на кроликов, и разнообразие их казалось бесконечным: жучки зеленые, как изумруды, паучки размером с булавочную головку, божьи коровки, отливающие красной эмалью. В углублениях торфа, столь подталиво гнувшегося под ногами, стояли лужицы бурой воды, населенные морскими

чудовищами: тритонами и гребляками. Почва здесь была повлажнее, и на ней бурно разрастались самые разные мхи: у одних были красные стебельки и зеленые головки, другие походили на кукурузу, выращенную лилипутами. Там, где вереск поджигала некая природная стихия, скажем, собранные капельками росы солнечные лучи, — не человек, предпочитающий выжигать болота по весне, когда на них полным-полно птичьих гнезд, — виднелись пустоши с обугленными пеньками, выцветшими добела крошечными улиточьими домиками, не превосходящими размером перечную горошину, и лишайниками цвета шпаклевки, похожими на опаленную губку, — если отломить у такого стебелек, окажется, что внутри он пуст.

Все это при микроскопичности своих размеров простиралось вдаль, и над всем нависали запахи болота, прозрачный воздух, который кажется на болотах таким просторным, солнце, столь сильное, что казалось, будто свет его воистину рушится вниз, солнце, уходящее на ночной покой всего на два часа, и наконец, да оградят нас Небеса, — комары!

Он нередко думал, что птице, наверное, скучно сидеть на яйцах. Теперь он знал, что перед гла-

зами Ле-лек раскинется целая вселенная, мир, бурлящий прямо под ее носом.

Однажды под вечер, во время совместной прогулки по слепящему озеру, он сделал ей предложение, — не с горячностью страсти, ибо он уже слишком долго прожил в мире и слишком хорошо его знал, но с нежностью и надеждой. В бурой воде отражалось небо, казавшееся в ней еще более синим, — синим, как яйца черных дроздов, только без крапинок. Он подплыл к ней, неглубоко опустив хвост под воду и полого вытянув шею и голову, похожий на плывущую змею. Он поведал ей о своих горестях и недостатках, о том, как он ее обожает. Он рассказал, что соединившись с ней, надеется спастись от Мерлина и от мира. Ле-лек, как обычно, не выказала удивления. Она тоже пригнула шею и подплыла к нему, и увидев покорное выражение ее глаз, он почувствовал себя очень счастливым.

Но, как вы могли бы уже догадаться, черная рука пала с неба и вцепилась в него. Он ощутил, как его сносит назад, — не на крыльях, не в общем перелетном караване, но затягивая в мерзкий туннель волшебства. Исчезая, он успел ухватить одно вспорхнувшее перышко, и Ле-лек скрылась из виду.

16

— Ну вот, — воскликнул волшебник едва ли не до того, как путешественник материализовался, — теперь мы можем понемногу начать подбираться к главной идее. Перед нами, наконец, забрезжил свет.

— Дай ему прийти в себя, — сказал козел. — А то у него вид какой-то несчастный.

Но Мерлин отмахнулся от этого предложения.

— Несчастный? Вздор! Он отлично себя чувствует. Я говорил о том, что мы можем понемногу начать подбираться…

— К коммунизму, — сунулся было барсук, близорукий и чересчур поглощенный своим предметом.

— Нет-нет-нет. С большевиками мы покончили. Теперь в его рапоряжении находятся все данные, и мы можем заняться проблемой Силы. Однако, следует предоставить ему возможность самому додуматься до правильных выводов. Желаешь ли ты, Король, выбрать по своему усмотрению любое животное, чтобы я объяснил тебе, почему это животное воюет или не воюет?

— Любое без исключений, — добавил он, наклоняясь с чарующей улыбкой вперед, как если бы норовил всучить этих животных, словно дешевые сладости, своей расставшейся со всеми надеждами жертве. — Ты можешь выбрать любого, кто взбредет тебе в голову. Аистов, актиний, акул, амеб, архаров, аскарид…

— Ну, пусть выберет муравьев и гусей, — нервно предложил барсук.

— Нет-нет. Только не гусей. Гуси — это слишком просто. Будем честными, позволим ему выбирать самому. Пусть он выберет, ну, скажем, грачей.

— Очень хорошо, — сказал барсук. — Грачей.

Мерлин откинулся в кресле, соединил концы пальцев домиком и откашлялся.

— Первое, что нам надлежит предпринять, — сказал он, — прежде чем мы перейдем к рассмотрению конкретных примеров, это определить предмет нашего рассмотрения. Что такое война? Войну, насколько я понимаю, можно определить как агрессивное использование силы в отношениях между совокупностями существ, принадлежащих к одному и тому же виду. Причем именно между совокупностями, ибо в противном случае речь идет просто о разбое и оскорблении действием. Нападение одного сумасшедшего

волка на стаю — это еще не война. И опять-таки воевать могут лишь представители одного и того же вида. Птицы, добывающие кузнечиков, кошки, ловящие мышей, или даже тунцы, охотящиеся на сельдей, — то есть рыбы одного вида, нападающие на рыб другого, — все это не дает нам истинных примеров военных действий. Мы видим, стало быть, что имеется два существенных момента: во— первых, воюющие стороны должны принадлежать к одному семейству, и во-вторых, само это семейство должно быть семейством общественных животных. Таким образом, мы можем начать с того, что отбросим всех, кто не живет в сообществах, а уже затем приступить к поискам примеров воинственности в природе. Проделав первое, мы увидим, что у нас останется изрядное число таких животных, как скворцы, пескари, кролики, пчелы и с ними еще тысячи иных. Однако, начав искать среди них примеры воинственного поведения, мы столкнемся с острой нехваткой этих самых примеров. Много ли ты можешь назвать животных, предпринимающих согласованные агрессивные действия против сообществ, принадлежащих к их собственному виду?

Мерлин помолчал пару секунд, ожидая ответа

старого Короля, и продолжил лекцию.

— Вот именно. Ты мог бы упомянуть кое-каких насекомых, человека, разного рода микробов или там кровяные тельца, — если о них можно сказать, что они принадлежат к одному виду, — и после этого ты бы в растерянности остановился. Явственная аморальность войн состоит, как я уже указывал, в том, что в природе они редки. А потому нам следует прекратить поиски, испытывая облегчение от того, как удачно сходятся воедино полученные нами данные, — ибо последние могли оказаться чрезмерно объемистыми, — прекратить, стало быть, поиски и заняться характерными особенностями этих видов, столь склонных к вражде. Что же мы обнаружим? Обнаружим ли мы, что воевать свойственно, как могли бы утверждать пресловутые коммунисты, о которых все время твердит барсук, именно тем видам, представители которых владеют частной собственностью? Совсем напротив, мы обнаружим, что воюют как раз те животные, которые склонны ограничивать или запрещать частную собственность. Это муравьи и пчелы с их общинными желудками, это люди с их национальной собственностью режут друг другу глотки; в то время как птицы, обладающие личными жена-

ми, гнездами и охотничьими угодьями, кролики с их собственными норами и животами, пескари с их собственными участками и лирохвосты с их частными сокровищницами и декоративными парками, — они-то все живут в мире. И не следует с презрением отвергать обычные гнезда или охотничьи угодья в качестве форм собственности: для животных они точно такая же собственность, как для людей дома и предприятия. Но самое важное, что они являются именно частной собственностью. Владельцы частной собственности по самой природе своей склоняются к мирной жизни, а вот те, кто додумался до общественной, — вот те-то и воюют. Этот тезис, как нетрудно видеть, полностью противоположен тому, что провозглашает тоталитарная доктрина.

— Разумеется, и в природе владельцы частной собственности порой бывают вынуждены оборонять свои владения от разбойных нападений, совершаемых иными частными лицами. Но это редко приводит к кровопролитию, и людям тут опасаться нечего, тем более что наш Король уже склонил их к тому, чтобы согласиться, в принципе, с применением сил поддержания порядка.

— Однако, ты хочешь возразить мне, что, может быть, силой, связующей воедино воинственных

животных, является вовсе не национализм, что они, может быть, воюют совсем по иным причинам, — например, потому что все они что-то там производят или все владеют домашним скотом, или все они — земледельцы, подобно некоторым из муравьев, или все обладают запасами пищи. Мне нет нужды отнимать у тебя время, обсуждая эти возможности, поскольку ты сам в состоянии разобраться с ними. Пауки — величайшие среди производственников и однако же не воюют; у пчел нет домашних животных и сельским хозяйством они не занимаются, — а войны ведут; многие из агрессивных муравьев никакими запасами пищи не владеют. И вот посредством примерно таких рассуждений, подобных нахождению наибольшего общего делителя в математике, ты так или иначе, а придешь к предложенному мной объяснению, — вообще говоря, самоочевидному, если над ним подумать. Война есть следствие общественной собственности, той самой, которую отстаивают практически все демагоги, торгующие вразнос тем, что они именуют Новым Порядком.

— Я несколько забежал с моими примерами вперед. Для проверки выводов нам следует рассмотреть нечто конкретное. Давайте обратим

наши взоры к грачиному гнездовью.

— Итак, перед нами общественное, как и муравей, животное, проживающее вместе со своими товарищами в хорошо проветриваемых общественных помещениях. Эти животные осознают свою национальную принадлежность, и до такой именно степени, что грачиное сообщество изводит грачей, относящихся к другому, живущему в некотором отдаленнии сообществу, если те попытаются свить гнезда на освоенных данным сообществом деревьях. Таким образом, грач — животное не только общественное, но еще и исповедующее национализм, хоть и в незначительной мере. Важно, однако, что грачи не объявляют свои пастбища национальной собственностью. Любое соседствующее с их гнездовьем поле, богатое злаками или червями, посещается не только грачами данного сообщества, но также и представителями всех ближних общин, а на самом деле еще и галками, и голубями, живущими по соседству, и никаких вспышек вражды не возникает. Фактически, грачи если и отстаивают национальную собственность, то лишь в малой мере, — применительно к месту гнездования, и в итоге такое бедствие, как война, им неведомо. Они принимают как должное ту

очевидную с точки зрения природы истину, что доступ к природным ресурсам должен быть открыт для свободного предпринимательства.

— Обратимся теперь к гусям, к древнейшей расе, обладающей одной из наиболее развитых культур и великолепно разработанным языком. Восхитительные музыканты и поэты, господствующие в воздушном пространстве уже миллионы лет и за все это время не сбросившие ни единой бомбы, приверженцы единобрачия и дисциплины, интеллигентные, живущие сообществами, обладающие высокими моральными качествами и чувством ответственности, несокрушимо верующие в то, что никакие природные ресурсы в мире не могут присваиваться какой-либо сектой или семьей, принадлежащей к их племени. На любом приличном поле Zostera marina или пастбище с хорошей травой можно сегодня обнаружить две сотни гусей, а завтра — все десять тысяч. В одной и той же гусиной стае, перелетающей от пастбища к местам отдыха, мы можем видеть как белогрудых, так и серых гусей, а то и казарок. Мир открыт для всех. Но не подумай, что они коммунисты. Каждый отдельный гусь готов сразиться с ближним за обладание гнилой картофелиной, а жены их и гнезда принадлежат им

безусловно. Это тебе не муравьи — никаких общинных домов или желудков. И эти прекрасные создания, путешествующие по всему земному шару, не предъявляя прав ни на какую его часть, никогда не воюют.

— Именно национализм, то есть притязание малых общин на какие-то участки совершенно безразличной к ним Земли как на свою общественную собственность, и составляет основное проклятие человека. Мелочные и бестолковые крикуны, адепты ирландского или польского национализма, — вот истинные враги человечества. Да и самих-то англичан, готовых воевать под показным предлогом «защиты прав малых наций», возводя одновременно памятники женщине, замученной за слова о том, что патриотизм это еще не все, можно счесть лишь сборищем благожелательных недотеп, руководимых замечтавшимися проходимцами. Впрочем, особо отличать англичан, ирландцев или поляков было бы нечестно. Мы все сидим в этом по самые уши. Это проявление общего идиотизма Homo impoliticus. И к тому же, хоть я и отозвался столь грубо об этой частности английского характера, я хотел бы сразу добавить, что прожил среди англичан несколько столетий. Если они

и представляют собой сборище недотепистых проходимцев, им по крайне мере не откажешь в благожелательности и мечтательности, а я не могу не счесть эти качества более предпочтительными, нежели тираническая и циничная тупость воюющих с англичанами гуннов. На этот счет я попросил бы никого не заблуждаться.

— И в чем же, — вежливо поинтересовался барсук, — состоит практическое решение?

— А решение самое простое и легкое, какое только можно придумать. Необходимо уничтожить таможенные барьеры, паспорта и законы об иммиграции, превратив человечество в конфедерацию частных лиц. Собственно говоря, следует уничтожить нации и не только нации, но и государства тоже, вообще сделать недопустимым любое объединение людей, превышающее размером семью. Возможно, придется довольно основательно ограничить личные доходы из опасения, что богатые люди могут составить некое подобие нации. Однако нет решительно никакой необходимости превращать частных лиц в коммунистов или в нечто подобное, — это просто противоречит законам природы. Если повезет, то, может быть, лет за тысячу образуется даже новый язык, но самое главное — предоставить живуще-

му в Стоунхендже человеку возможность за один вечер уложить пожитки и беспрепятственно отправиться искать фортуну в Тимбукту…

— Человеку следует стать перелетной птицей, — подумав, добавил он, и на лице его появилось удивленное выражение.

— Да, но это повлечет за собой катастрофу! — воскликнул барсук. — Японская рабочая сила… Торговля будет подорвана!

— Плевать! Все люди обладают одним и тем же телесным устройством и испытывают одинаковую потребность в пище. Если кули способен пустить тебя по миру тем, что ухитряется прожить в Японии, довольствуясь одной миской риса в день, то самое лучшее для тебя — отправиться в Японию и купить эту миску. Тем самым ты пустишь по миру кули, который, как я полагаю, будет к этому времени разъезжать в твоем роллс-ройсе по Лондону.

— Но ведь цивилизации будет нанесен смертельный удар! Снижение уровня жизни…

— Вздор! Уровень жизни кули только повысится. Если в честном соревновании выяснится, что он не хуже, а то и лучше тебя, — ну, так дай ему Бог удачи. Именно он нам и нужен. Что до цивилизации — сам посмотри, чего она стоит.

— Это приведет к революции в экономике!

— А ты предпочел бы череду Армагеддонов? Ничего по— настоящему ценного, о мой барсук, этот мир пока еще не получал задаром.

— А похоже, — вдруг согласился барсук, — мысль, действительно, стоящая.

— Наконец-то ты понял. Оставь человека при его пустяковой трагедии, раз уж она ему так по душе, и обрати свои взоры к двумстам пятидесяти тысячам прочих животных. Они, за несколькими незначительными исключениями, обладают хотя бы политическим здравомыслием. Выбор-то ведь самый простой: муравей или гусь, — и все, что следует сделать нашему Королю, когда он вернется к людям, это втолковать им, что иного выбора нет.

Барсук, завзятый противник всех и всяческих преувеличений, напористо возразил.

— Прости, — сказал он, — но утверждать, что человеку остается выбирать только между муравьем и гусем, значит смешивать понятия. Во-первых, человек ни в того ни в другого превратиться не может, а во-вторых, муравьи, как нам известно, отнюдь не считают свою долю несчастной.

Мерлин мгновенно отразил аргумент против-

ника.

— Ничего похожего я и не утверждал. Не придирайся к словам. Реально всякому виду предоставляется лишь две возможности: либо следовать собственному эволюционному пути, либо исчезнуть. Муравьи сделали выбор между муравьиным существованием и вымиранием, так же как гуси — между гибелью и жизнью, свойственной гусям. Дело же не в том, что муравьи заблуждаются, а гуси нет. Муравьизм хорош для муравьев, гусизм

— для гусей. Точно так же и человеку предстоит выбирать между человечностью и вымиранием. А человечность в значительной мере определяется разумностью решения той самой проблемы силы, на которую мы пытались взглянуть глазами иных существ. Вот что Королю следует попытаться довести до сознания людей.

Архимед кашлянул и спросил:

— Извини, пожалуйста, хозяин, но если с прозорливостью у тебя сегодня все в порядке, не мог бы ты сказать, удастся это Королю или нет?

Мерлин поскреб в затылке и протер очки.

— В конечном итоге — удастся, — сказал он после долгой паузы. — В этом я уверен. Иначе вся раса сгинет подобно американским вяхирям,

каковые, должен добавить, численностью весьма и весьма превосходили человека, и однако же вымерли в конце девятнадцатого столетия за какую-то дюжину лет. Но произойдет ли это в его время или позднее, — для меня дело темное. Главная трудность, когда живешь назад, а думаешь вперед, состоит в том, что начинаешь путаться в настоящем. Это еще одна причина, по которой многие из нас предпочитают ударяться в абстракции.

Престарелый джентльмен сложил ладони на животе, вытянул к огню ноги и, обуреваемый мыслями о нелегкости своего положения во времени, принялся цитировать одного из своих любимейших авторов:

— «Я смотрел, — цитировал он, — как разыгрывается у меня на глазах история смертных, принадлежавших к самым различным народам… королевы и короли, императоры и республиканцы, патриции и плебеи проносились передо мной в обратном порядке… Время хлынуло вспять, разворачивая потрясающие картины. Великие люди гибли, не успев завоевать себе славы. Королей свергали некоронованными. Нерон и Борджиа, Кромвель, Асквит и иезуиты вкушали вечное бесчестье и лишь затем принимались

его зарабатывать. Моя родная страна растаяла в Британии варваров, Византия — в Риме, Венеция — в Аквилее венетов, Эллада — в неисчислимых блуждающих племенах. Падали и лишь затем наносились удары.»

Тишину, наступившую вслед за воссозданием этой впечатляющей картины, нарушил козел, вернувшийся к прежней теме.

— Что ты там ни говори, — сказал козел, — а вид у него несчастный.

В первый раз после возвращения Короля звери пригляделись к нему и в комнате повисло молчание.

17

Король, так и сидевший с пером в руках, смотрел на зверей. Перо он держал, сам того не сознавая, — то был последний оставшийся у него кусочек прекрасного. Он защищался им от зверей, словно оружием, способным удержать их на расстоянии.

— Никуда возвращаться я не намерен, — сказал он. — Вам придется подыскать другого вола, чтобы тянуть вашу лямку. Зачем вы меня вернули? Почему я должен умирать за людей, о которых вы сами говорите с таким презрением? Ведь среди них меня ожидает смерть. Люди глупы и свирепы, — это слишком верно. Каких только горестей не натерпелся я от них, кроме разве что смерти. Неужели вы полагаете, что они прислушаются к слову мудрости, что тупица поймет его и отбросит оружие? Нет, он убьет меня за это слово, — убьет, как муравьи убили бы альбиноса.

— И Мерлин, — воскликнул он, — я боюсь смерти, потому что пожить мне так и не удалось! У меня не было собственной жизни, не было времени, чтобы проникнуться красотой. Я толь-

ко-только начал ее замечать. Ты показал мне красоту и тут же отнял ее у меня. Ты переставляешь меня, будто шахматную фигуру. Имеешь ли ты право хватать мою душу и лепить из нее то, что тебе требуется, лишая мой разум собственного разумения?

— Да, звери, я вас подвел, я знаю. Я не оправдал вашего доверия. Но я не могу снова влезать в ярмо, слишком долго вы заставляли меня тянкть его. Ради чего я должен был оставить Ле-лек? Я никогда не был умен, я был только терпелив, но и терпению приходит конец. Никто не в состоянии протерпеть всю свою жизнь.

Они не смели ему отвечать, просто не находили слов.

Ощущение вины и растраченной впустую любви наполняло Артура страданием, от которого ему приходилось защищаться гневом.

— Да, вы умны. Вам известны длинные слова, вы умеете жонглировать ими. Если фраза кажется вам удачной, вы усмехаетесь и произносите ее. Но хихикаете-то вы над человеческими душами, и это мою душу, единственную, какая у меня есть, вы снабдили биркой и внесли в каталог. И у Ле-лек тоже была душа. Кто обратил вас в богов, распоряжающихся чужими судьбами, кто

поставил вас выше наших сердец, так что вы пытаетесь руководить их движениями? Хватит, я больше не стану делать для вас грязной работы и ваши грязные планы мне больше не интересны, я уйду с гусиным народом в какое-нибудь тихое место, где мне дадут спокойно умереть.

Голос его задрожал, став голосом старого, жалкого горемыки, он рывком откинулся в кресле и закрыл руками лицо.

В этот миг обнаружилось, что посреди комнаты стоит ежик. Крепко стиснув лиловатые пальчики в кулаки, задрав в ожидании вызова яростный носик, тяжело дыша, он встал — маленький, гневный, вульгарный, заеденный блохами, с торчащими между иголок сухими листьями, — один против всего комитета, и комитет испугался.

— А ну все отвалили, ясно? — решительно заявил он. — И больше к нему не суйтесь. С этим парнем надо по-честному.

И ежик отважно шагнул, занимая позицию между комитетом и своим героем, готовый сбить с ног первого, кто посмеет сунуться вперед.

— Ага, — сакркастически произнес он. — Трухлявая компания балабонов, вот вы кто такие по-нашему. Тоже мне, Пилаты собрались, — человека они судят. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Вот пускай

только пальцем кто его тронет, я тому враз сверну грязную шею.

Мерлин жалостно запротестовал:

— Но никто и не хотел, чтобы он делал что-нибудь против воли…

Ежик подошел к чародею, придвинул свой подергивающийся носишко вплотную к его очкам, так что тот отшатнулся, и фыркнул волшебнику прямо в лицо.

— Ну да, — сказал он. — А никто никогда ничего и не хочет. Только почему-то помнит все время, что чья сила, того и воля.

После чего он возвратился к сокрушенному Королю, остановившись с тактом и благородством на некотором расстоянии от него, ибо помнил о блохах.

— Ну их, хозяин, — сказал он, — засиделся ты тут. Пошли, прогуляешься с маленьким ежиком, подышишь Божьим воздухом да приложишь головушку к лону земному.

— И забудь об этих пустомелях, — прибавил он. — Пусть себе препираются до истерики, чума их возьми. А ты иди, подыши воздухом с простым человеком, небом полюбуйся.

Артур протянул ежику руку и тот несмело подал ему свою, отерев ее предварительно об

иголки на спине.

— Он ежик-то, может, и блохастый, — скорбно пояснил он при этом, — да честный.

Они вместе направились к двери; на пороге еж, обернулся и окинул взглядом покидаемое поле сражения.

— Оривор, — добродушно обронил он, с невыразимым презрением оглядев комитет. — Смотрите, не разрушьте до нашего возвращения Божий мир. Другого-то вам не сделают.

И он язвительно поклонился потрясенному Мерлину:

— Наше вам, Бог Отец.

И несчастному Архимеду, который сидел, отвернувшись, вытянувшись и закрыв глаза:

— Бог Сын.

И с мольбой взиравшему на него барсуку:

— И Бог Пух Святой.

18

Ничего нет прекраснее весенней ночи в деревне, особенно самых поздних ее часов, и самое лучшее, если ты в это время один. В эти часы, когда слышишь снующих своими путями обитателей дикой природы, коров, начинающих вдруг жевать в аккурат перед тем, как на них натыкаешься, и тайную жизнь листвы, и звуки, издаваемые травой, которую кто-то тянет и дергает, и прилив крови в твоих собственных венах; когда видишь в глубокой тьме очертания холмов и деревьев и звезды, вращающиеся сами собой в своих на славу смазанных лунках; когда лишь один огонек виднеется в дальнем домишке, обозначая чью-то болезнь или раннее пробуждение для какой-то таинственной поездки; когда тяжело ухают подковы лошадей и поскрипывает следом телега, везущая на неведомый рынок спящих среди кулей мужчин; когда собаки звякают цепями на фермах, и тявкает и затихает лиса, и умолкают совы; — как чудесно в эти часы ощущать себя живым и сознающим все вокруг, пока все остальные люди, вытянувшись в постелях,

лежат по домам, бессознательные, отдавшие себя на милость полуночного разума.

Ветер стих. Запорошившие безмятежное небо звезды расширялись и съеживались, образуя картину, которая звенела бы, если б могла звучать. Огромный скалистый холм, на который взбирались двое, величественный, хоть и грязный, громоздился на фоне неба, словно заострившийся горизонт.

Ежик с трудом перебирался с кочки на кочку, всхрюкивая, валился в тинистые лужицы, пыхтел, карабкаясь на крохотные обрывы. В самых трудных местах утомленный Король подавал ему руку, поднимая его туда, где почва была потверже, подсаживал, каждый раз замечая, как трогательно и беззащитно выглядят сзади его голые ножки.

— Благодарствуйте, — повторял ежик. — Премного вам обязаны, будьте уверены.

Когда они добрались до вершины, ежик, отдуваясь, опустился на землю, и Король сел рядом с ним, чтобы полюбоваться открывшимся видом.

Всходила поздняя луна, и перед ним медленно возникала Англия — его королевство, Страна Волшебства. Распростертая у его ног, она тянулась к далекому северу, немного кренясь к вообра-

жаемым Гебридам. Это была его родная земля. Луна, от которой древесные тени казались значительнее, чем сами деревья, ртутью наливала молчаливые реки, разглаживала игрушечные пастбища, подергивая все вокруг легким маревом. Но Король чувствовал, что узнал бы свою страну и без света. Он знал, где должен быть Северн, где Даунс, где Скалистый край, — незримые, но неотъемлемые от его дома. Вон на том поле должна пастись белая лошадь, а там — сушиться на изгороди стиранное белье. Только так это и могло быть.

Внезапно он ощутил острую и печальную красоту существования, просто существования, вне любых представлений о правом и неправом, он ощутил, что сам по себе факт существования в мире и есть конечная истина. Он ощутил прилив жгучей любви к стране, лежащей у его ног, не потому, что она хороша или дурна, но потому, что она существует, потому что золотыми вечерами по ней тянутся тени пшеничных копен; потому что гремят хвосты у бегущих овец, а хвосты сосущих ягнят вращаются, словно маленькие вихри; потому что наплывают волнами света и тени чудесные облака; потому что по выпасам ищут червей стайки золотисто— зеленых ржанок, ко-

ротко перепархивая с места на место навстречу ветру; потому что похожие на старых дев цапли, которые, согласно Дэвиду Гарнетту, закалывают рыбьими костями свои волоски, чтобы те стояли торчком, падают в обморок, если мальчишке удается незаметно подкрасться к ним и гаркнуть во все горло; потому что дымы от жилищ синими бородами блуждают по небу; потому что в лужах звезды ярче, чем в небесах; потому что существуют лужи, и протекающие водосточные желобы, и покрытые маками кучи навоза; потому что выскакивает вдруг из реки и падает обратно лосось; потому что свечи каштанов выпархивают из ветвей в ароматном весеннем воздухе, словно чертики из табакерок или малютки— призраки, топырящие кверху зеленые лапки, чтобы тебя напугать; потому что вьющие гнезда галки вдруг повисают в воздухе с ветками в клювах, превосходя красотою любого голубя, возвращающегося в ковчег; потому что в свете луны под ним простиралось величайшее из благ, дарованных Господом миру, — серебристый дар мирного сна.

Он понял вдруг, что любит эту страну, — сильнее, чем Гвиневеру, сильнее, чем Ланселота, сильнее, чем Ле-лек. Она была и матерью его, и дочерью. Он знал наречия ее народа, он ощутил

бы, как она преображается под ним, если бы смог, словно гусь, которым он был когда-то, промчаться над ней по воздуху от «Зомерзета» до Озерного края. Он мог бы сказать, что думают простые люди о том, об этом, — да о чем угодно, — даже не спрашивая их. Он был их Королем.

А они были его народом, от отвечал за них, — будь они stultus или ferox, — как тот старый гусиный адмирал отвечал за обитателей крестьянского подворья. Сейчас-то они свирепыми не были, потому что спали.

Англия лежала у ног старика, словно заснувший мальчик. Проснувшись, он примется топать ногами, хвататься за что попало, все ломать, убивать бабочек, таскать кошку за хвост, — вообще взращивать свое эго с аморальной и жестокой сноровкой. Но во сне эта мужская склонность к насилию оставляла его. Сейчас мальчик лежал беззащитным, уязвимым, походя на младенца, уверенного, что мир позволит ему спокойно поспать.

И на ум Королю пришли вдруг совсем не ужасные, но, напротив, — прекрасные качества человека. Он увидел огромную армию свидетельствующих в пользу человечества мучеников: молодых мужчин, многие из которых отказались

даже от первых семейных радостей и ушли, чтобы пасть на грязных полях сражений, подобных полю под Бедегрейном, пасть за то, во что верят другие, но ушли-то они по собственному свободному выбору, ушли, уверенные, что это необходимо, ушли, хотя им вовсе этого не хотелось. Возможно, они были попросту невежественными юнцами, умиравшими за бессмыслицу. Но невежество их было невинным. И они, в своей невежественной невинности, сделали нечто немыслимо трудное и сделали не для себя.

Он увидел вдруг всех, кто когда-либо приносил себя в жертву: ученых, голодавших во имя истины, поэтов, не принявших сулившего им успех компромисса, родителей, задушивших свою любовь, чтобы дать детям достойную жизнь, врачей и священников, умиравших, чтобы помочь людям, миллионы крестоносцев, в массе своей глуповатых и за эту глупость убитых, — но желавших добра.

Вот оно — желавших добра! Он уловил, наконец, проблеск этой необычайной особенности человека, это странное, альтруистичное, редкостное и упрямое благородство, заставляющее писателей и ученых отстаивать свои истины даже под угрозою смерти. Eppur si muove, — как

еще предстояло сказать Галилею,

— а все-таки она вертится. Его вполне могли сжечь, если бы он продолжал держаться за столь несообразный вздор — за утверждение, что Земля будто бы вращается вокруг Солнца, но он все-таки вынужден был упорствовать в своих высокомерных притязаниях, поскольку существовало нечто, ценимое им превыше себя самого. Истина. Осознанное понимание Того, Что Есть. Вот на что способен человек, на что способны англичане, любимые им, спящие, беззащитные в этот миг англичане. Быть может, они и тупы, и свирепы, и аполитичны, и вообще почти безнадежны. Но время от времени, — так нечасто, так редко, так величественно,

— а все равно появляются люди, готовые взойти на плаху и отдать себя палачу, готовые даже сгинуть, ничего по себе не оставив, ради дела, которое больше их самих. Истина, эта странная штука, посмешище Пилата. Сколько глуповатых юнцов полагало, что они умирают ради нее, и сколькие еще умрут за тысячи, может быть, лет. Их истина необязательно будет такой же бесспорной, как та, что еще откроется Галилею. Довольно и того, что они, немногочисленные и замученные, явят пример величия, нечто даже

большее суммы всего того, чем они в невежестве своем обладали.

И тут его снова захлестнула печаль, мысль о том, каким станет мальчик, едва лишь проснется, мысль об этом жестоком и скотоподобном большинстве, среди которого мученики — столь редкое исключение. А она тем не менее вертится. Как мало, как до ничтожности мало тех, кто готов эту мысль отстаивать!

Он едва не заплакал от жалости к миру, к мерзостности его, да еще и такой ничтожной.

Ежик заметил:

— А ничего местечко, верно?

— Верно, парень. Жаль только сделять для него я ничего не могу.

— Да уж сделал. Ты ж наш заступник.

— В долине ожил домишко. Глазок света мигнул, и Король ощутил, как зажегший его человек, — браконьер, скорее всего, медлительный, неуклюжий и упорный, словно барсук, — натягивает тяжелые сапоги.

— Сыр?

— Сир, парень; и не «куличество», а «величество».

— Величество?

— Точно, парень.

— А ты помнишь, как я тебе когда-то песенки пел?

— Как не помнить. «Старый мостик», «Гиневьеву» и… и…

— «Дом, милый дом».

Король вдруг поник головой.

— Может, спеть тебе снова, а, Величество?

Но Король смог лишь кивнуть.

Ежик встал в свете луны и принял приличествующую пению позу. Он пошире расставил ножки, ручки сложил на животе и зацепился взглядом за какой-то удаленный предмет. Затем чистым деревенским тенорком он спел Королю Англии про дом, милый дом.

Глупенькая, простая мелодия стихла, — а впрочем при свете луны, на горе, стоящей в твоем королевстве, она вовсе не кажется глупой. Ежик пошебуршил ножками, покашлял, у него явно было что-то еще на уме. Однако Король безмолвствовал.

— Величество, — стесняясь, вымолвил еж, — у нас еще новая есть.

Ответа не было.

— Мы как узнали, что ты придешь, новую разучили. Вроде как для приветствия. Нас этот Мирн научил.

— Спой, — выдохнул старик. Он откинулся на вереск, ибо чувствовал, что силы его на исходе.

И вот, здесь, на английских высотах, чисто произнося каждое слово, старательно выученное с голоса Мерлина, на музыку, написанную в будущем Пэрри, держа в одной серой ручке свой меч из веточек, на колеснице из покрытых плесенью листьев, ежик поднялся, чтобы возвести Иерусалим — Иерусалим и ничто иное.

О! где мой лук в златом огне?

Где стрелы страсти? Где мой щит?

Раздайтесь, тучи! Пусть ко мне, Пылая, колесница мчит.

Дерзай, мой дух, неодолим.

Не спи, мой меч, доколе я Не возведу Иерусалим В зеленых Англии полях.

19

Бледные лица сгорбившихся у огня членов комитета единым движением обратились к двери, и шесть пар виноватых глаз уставились на Короля. Но в дверь вошел не Король, вошла Англия.

Говорить или объяснять что-либо не имело смысла: все было видно по его лицу.

Звери поднялись, приблизились к Королю и смиренно его обступили. Мерлин, к удивлению Короля, оказался стариком, руки которого трепетали, как листья. Он беспрестанно сморкался в свой колпак, из которого сыпался истинный дождь мышей и лягушек. Барсук горько плакал, бессознательно прихлопывая каждую слезу, повисавшую на кончике его носа. Архимед, чтобы скрыть, как ему стыдно, окончательно свернул голову задом наперед. Весь облик Каваля выражал муку. T. natrix, у которого в каждой ноздре стояло по чистой слезинке, сложил голову к королевским стопам. А мигательная перепонка Балина билась со скоростью морзянки.

— Боже, храни Короля, — сказали они.

— Можете сесть.

Итак, после того, как Артур опустился в председательское кресло, звери почтительно присели — Королевский Тайный Совет.

— В скором времени, — сказал Король, — нам предстоит вернуться в наше светлое королевство. Прежде чем мы удалимся, мы желали бы задать несколько вопросов. Первый: здесь было сказано, что в будущем появится человек, подобный Джону Боллу, было сказано также, что он окажется дурным натуралистом, поскольку станет утверждать, будто людям следует жить на манер муравьев. Какими доводами опровергаете вы это утверждение?

Мерлин поднялся и стянул с головы шляпу.

— Это вопрос естественной морали, сир. Комитет полагает, что всякому виду, желающему жить в согласии с этой моралью, следует развиваться в рамках присущей ему специализации. Слону довлеет заниматься своим хоботом, а гирафе, или хамелеопарсу — своей шеей. Если же слон возжелает летать, таковое его желание надлежит счесть аморальным, ибо у слона отсутствуют крылья. Специальной особенностью человека, столь же развитой у него, сколь шея у гирафы, является кора его головного мозга. Это часть мозга, которая вместо того, чтобы обслуживать инстинкты, отве-

чает за память, дедукцию и те формы мышления, благодаря которым индивидуум осознает себя как личность. Устройство человеческой головы позволяет человеку сознавать себя отдельным существом, что совсем не часто случается с животными или даже дикарями, и потому любая форма коллективизма, декларируемая в качестве политической доктрины, противоречит специализации человека.

— В этом, к слову, и состоит причина, — медленно продолжил старый джентльмен, и глаза его заволоклись пленкой, словно глаза усталого, страдающего ясновидением грифа, — по которой я всю долгую мою жизнь, растянувшуюся вспять на несколько утомительных столетий, вел собственную малую войну против силы во всех ее проявлениях, и оттого же я — по праву или без оного — склонял и других людей вести ее. Вот почему я некогда убедил вас, сир, с презрением относиться к мании игр и противопоставить вашу мудрость баронам, верующим в Сильную Руку; полагаться более на правосудие, нежели на силовое правление; и собрав воедино все силы ума, постараться установить, — что и мы старались проделать этой затянувшейся ночью, — в чем причина битв, которые мы ведем, ибо война

— это проявление силы, не признающей узды и летящей, не разбирая дороги. Я не стал бы предпринимать этого крестового похода на том единственном основании, что сила является неприемлемой с отвлеченной точки зрения. Ибо для боа-констриктора, представляющего собой практически одну огромную мышцу, утверждение «Сильный — прав» было бы справедливым буквально; для муравья, мозг которого устроен не так, как мозг человека, в буквальном смысле справедливо, что государство важнее личности. Но применительно к человеку, чья специализация кроется в осознающих собственную личность складках его мозговой коры, — столь же развитых у него, сколь развиты мышцы боа— констриктора, — в такой же мере справедливы утверждения, что правота определяется не силой, а духовной истинностью, и что личность гораздо важнее государства. Настолько важнее, что человеку следует уничтожить государство. Пусть боа-констрикторы предаются самолюбованию оттого, что они — такие вот мускулистые атлеты: для них мания игр, сильная рука и тому подобное — это именно то, что требуется. Возможно, сетчатый узор питона представляет собой некую разновидность шерстяного борцовского трико самого

большого размера. Пусть муравьи утверждают славу своего государства: нет никаких сомнений в том, что тоталитаризм — лучшая для них форма общественного устройства. Что же до человека, то комитет полагает, — и не на основании отвлеченных определений правоты и неправоты, но исходя из конкретного, данного самой природой определения, согласно которому каждый вид обязан следовать своей специализации: в сфере человеческой деятельности сила вообще никогда не бывает права; государство не может стоять выше личности; будущее принадлежит душе отдельного человека.

— Возможно, вам стоит подробнее рассказать о мозге.

— Сир, в этой старой черепной коробке происходит немало интересного, но для целей нашего расследования мы ограничимся двумя разделами мозга: корой и полосатым телом. Последнее определяет, попросту говоря, мои инстинктивные и машинальные действия, в первой же у меня хранится тот самый разум, за который наша раса всем на удивление получила прозвище sapiens. Возможно, я смогу пояснить это, прибегнув к уподоблению, хотя уподобления чреваты опасностью и зачастую уводят нас в сторону.

Полосатое тело подобно отдельному зеркалу, которое в ответ на поступающие в него возбуждения отражает вовне инстинктивные действия. В коре же размещены целых два зеркала. Каждое способно видеть себя самого, по этой причине они осведомлены о своем существовании. Кто-то когда-то сказал: человек, познай самого себя, — иными словами, истинная наука о человеке, как выразился еще один философ, это сам человек. Это потому, что человек специализируется по части развития коры головного мозга. У других животных с развитым мозгом основную роль играет не то отделение, где стоят два зеркала, а другое — с одним. Помимо человека, весьма немногие животные осознают себя личностями. Даже примитивным народам, принадлежащим к человеческому сообществу, еще свойственно смешивать человека с его окружением, — ибо дикий индеец, как вы, может быть, знаете, делает столь малое различие между собой и окружающим миром, что когда ему нужен дождь, он начинает плеваться. Нервная система муравья может быть названа однозеркальной, как у дикаря, поэтому для муравья естественно быть коммунистом, растворяться в толпе. Цивилизованному же человеку, мозг которого двузеркален, приходится

специализироваться в развитии собственной личности, в самопознании, — назовите это, как вам угодно, — и именно потому, что два этих зеркала отражаются одно в другом, человек никогда не сможет преуспеть в качестве беззаветного пролетария. Он обязан обладать собственной высокоразвитой личностью и всем, что с ней связано, включая эгоизм и инстинкт собственника. Прошу простить сделанное мною уподобление, если оно показалось вам неуместным.

— Обладают ли гуси корой головного мозга?

Мерлин снова поднялся.

— Да, и для птиц очень приличной. У муравьев же нервная система устроена иначе, в ней главную роль играет некое подобие полосатого тела.

— Второй вопрос касается войны. Нам предлагалось тем или иным способом уничтожить ее, однако никто не дал ей возможности высказаться в свою защиту. Вероятно, существует все же нечто такое, что можно сказать и в пользу войны. Мы желали бы это услышать.

Мерлин положил шляпу на пол, пошептался с барсуком, и тот, порывшись в куче протоколов, извлек, ко всеобщему удивлению, именно тот документ, который искал.

— Сир, комитет уже занимался этим вопросом

и позволил себе набросать список pro и contra, который мы готовы вам зачитать.

И прочистив горло, Мерлин громко провозгласил:

— PRO.

— В пользу войны, — пояснил барсук.

— Пункт первый, — сказал Мерлин. — Война является одной из главных движущих сил героической романтики. Без войны у нас не было бы ни Роландов, ни Маккавеев, ни Лоуренсов, ни Ходсонов, ни Ходсоновой легкой кавалерии. Не было бы и Креста Виктории. Война стимулирует так называемые добродетели, такие как храбрость и взаимовыручка. Фактически война не лишена своих возвышенных сторон. Следует также отметить, что не будь войны, мы лишились бы половины нашей литературы. Шекспир пропитан войной.

— Пункт второй. Война предоставляет способ борьбы с перенаселением, пусть и отвратительный, и не вполне эффективный. Тот же самый Шекспир, во всем, что касается войны, согласный, по всей видимости, с немцами и с их бредовым апологетом Ницше, говорит в сцене, которую он, как полагают, написал для Бомонта и Флетчера, что война врачует кровью больную землю,

исцеляя мир от избытка людей. Возможно, мне стоило бы отметить в скобках, — разумеется, со всевозможной почтительностью, что в своем отношении к войне Бард представляется мне на удивление неразумным. «Генрих V» — мерзейшая из известных мне пьес, и сам Генрих — персонаж премерзостный.

— Пункт третий. Война дает выход заключенной в человеке свирепости, и пока человек остается дикарем, некое средство такого рода представляется необходимым. Изучив историю, комитет обнаружил, что когда перекрывается один из выходов человеческой жестокости, она сразу находит другой. В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, когда война представляла собой довольно скромный ритуал, практикуемый профессиональными армиями, которые вербовались в преступной среде, широкие массы населения находили утешение в публичных казнях, стоматологических операциях без применения наркоза, кровопролитных видах спорта и сечении собственных детей. В двадцатом веке война получила столь широкое распространение, что к участию в ней стали привлекаться и эти самые массы, после чего повешения, резание по живому, петушиные бои и порки вышли из

моды.

— Пункт четвертый. В настоящее время комитет занят серьезными исследованиями, имеющими целью прояснить, до какой степени война является необходимой в физиологическом и психологическом планах. На данной стадии исследований мы еще не считаем возможным представить продуктивный отчет, однако мы, как нам кажется, установили, что война отвечает определенным реально существующим потребностям человека, — быть может, состоящим в связи со свирепостью, упомянутой в пункте третьем, но возможно и не состоящим. Нам удалось заметить, что после того, как хотя бы одному поколению удается прожить свои сроки в мире и спокойствии, человечеством овладевают уныние и тревога. Бессмертный, если не всеведущий, Лебедь Эйвона замечает, что, по всей видимости, мирная жизнь, претворяясь в человеческой голове в подобие абсцесса, прорывается наружу войной. «Война,

— говорит он, — это гнойник довольства и покоя, вовне прорвавшись, он не даст понять, как умер человек». В рамках такой интерпретации мирная жизнь — это вялое течение болезни, в то время как прорыв гнойника, то есть война,

является скорее благотворным, нежели наоборот. Комитет установил два способа, которыми довольство и покой могут уничтожить расу, если не позволять разразиться войне, а именно: человеческая раса либо утратит мужественность и обессилит, либо вследствие гормонального расстройства погрузится в коматозное состояние. И кстати о мужественности, — стоит отметить, что война вдвое повышает коэффициент рождаемости. Причина, по которой женщины терпят войну, состоит в том, что она стимулирует половую активность мужчин.

— Пункт пятый. Наконец, существует довод, который, вероятно, могло бы выдвинуть любое из обитающих на земле животных за вычетом человека, а именно, что война представляет собой неоценимое благо для творения Божия в целом, ибо она дает слабую надежду на самоистребление человеческого рода.

— CON, — объявил чародей, но Король остановил его.

— Возражения нам известны, — сказал он. — Идею полезности войны следует рассмотреть подробнее. Если Сила чем-то полезна, зачем тогда комитет намеревается чинить ей препоны?

— Сир, комитет пытается выявить физиоло-

гические основы войны, возможно, связанные с гипофизом и адреналином. Не исключено, что человеческому организму для сохранения здоровья необходима периодическая адреналиновая подпитка. (Если рассмотреть гормональную активность организма на примере, скажем, японцев, то мы увидим, что они в больших количествах потребляют рыбу, которая, насыщая их тела иодом, увеличивает щитовидные железы, делая японцев до крайности раздражительными.) Пока эти вопросы не исследованы должным образом, мы остаемся в неопределенности, однако, комитет хотел бы указать, что данная физиологическая потребность может быть удовлетворена и иными способами. Война, как уже отмечалось, представляет собой малоэффективное средство сокращения населения, точно так же она может оказаться и неэффективным способом осуществляемой с помощью страха стимуляции адреналиновых желез.

— Каковы же иные способы?

— Во времена Римской Империи был поставлен эксперимент, по ходу которого в качестве подмены испытывались кровавые представления в цирках. Они обеспечивали то самое очищение, о котором твердит Аристотель, — вполне

возможно, что и нам удастся отыскать некую альтернативу, которая сумеет доказать свою эффективность. Однако, куда более радикальные снадобья способна предоставить наука. Либо удастся подпитывать гормональную недостаточность посредством периодических инъекций адреналина всему населению, либо, — поскольку недостаточность может носить и иной характер, — найдется какая-либо действенная форма хирургического вмешательства. Быть может, коренную причину войны можно будет попросту удалять, — как аппендикс.

— Нам было сказано, что война вызывается национальной собственностью, теперь же мы слышим, что ее причиняет некая железа.

— Сир, эти два момента вполне могут находиться в связи, пусть даже и не причинно-следственной. Например, если бы национальная собственность была единственной причиной войны, мы могли бы ожидать, что войны так и будут без перерыва продолжаться до тех пор, пока таковая собственность существует. Мы видим, однако, что они перемежаются периодами затишья, называемыми миром. Складывается впечатление, что в такие спокойные периоды человечество впадает во все более глубокую

спячку, пока, наконец, не достигает того, что можно было бы назвать точкой насыщения адреналиновой недостаточности, и уже тут оно хватается за первый подвернувшийся повод для хорошей инъекции стимулянта, сиречь страха. Таким подручным поводом и является национальная собственность. Даже если войну рядят в религиозные одежды, как скажем, крестовые походы против Саладина или альбигойцев, или Монтесумы, основа ее все-таки остается неизменной. Никто бы не потрудился распространять на Монтесуму блага христианской веры, если бы сандалии его не были сделаны из золота, но и никто не счел бы золото достаточно соблазнительным, когда бы не потребность в хорошей дозе адреналина.

— Вы предлагаете использовать альтернативные средства вроде римского цирка, пока не будет закончено ваше исследование, касающееся работы желез. Вы рассмотрели эти средства с достаточной основательностью?

Архимед неожиданно захихикал.

— Мерлин хочет устроить международную ярмарку, сир. Он хочет, чтобы там имелось множество качелей, гигантских колес, живописных железных дорог, проходящих по резервациям, и

чтобы все это было отчасти опасно и примерно один человек из ста убивался до смерти. Посещение следует сделать добровольным, ибо, как он говорит, одна из наиболее нестерпимых особенностей войны — это всеобщий призыв. Он уверяет, что люди станут ходить на такие ярмарки по собственной воле — от скуки, от адреналиновой недостаточности или от чего угодно, и что они, скорее всего, будут испытывать потребность в таких развлечениях, в возрасте двадцати пяти, тридцати и сорока пяти лет. Посещение следует обставлять как дело престижное и почетное, и каждый посетитель должен получать памятную медаль, тех же, кто придет пятьдесят раз, следует удостаивать Креста за выдающиеся заслуги, — по-моему, так он выразился, — а за сто посещений награждать Крестом Виктории.

Волшебник с пристыженным видом пощелкал суставами пальцев.

— Это предложение, — униженно произнес он, — предназначалось скорее для пробуждения фантазии, чем для серьезного обсуждения.

— В настоящее время оно определенно не представляется осуществимым на практике. Имеются ли иные панацеи от войн, к которым мы можем прибегнуть ныне?

— Комитет предложил некое противоядие, которое может дать временное облегчение, подобное тому, какое приносит сода насыщенному кислотой желудку. В качестве целебного средства оно бесполезно, хотя и может смягчить течение болезни. Оно могло бы спасать по нескольку миллионов жизней в каждом столетии.

— И в чем же оно состоит?

— Сир, вы, возможно, заметили, что люди, ответственные за объявление войны и руководящие ее ходом, не особенно склонны переносить тяготы, которыми она чревата. В битве при Бедегрейне Ваше Величество уже сталкивалось с чем-то подобным. Короли и генералы, командующие сражениями, имеют странное обыкновение выходить из них живыми. Комитет предлагает по завершении каждой войны немедленно предавать смерти всех официальных лиц проигравшей стороны, имеющих чин не ниже полковника, — безотносительно к тому, виновны ли они в развязывании войны или не виновны. Такая мера, разумеется, является отчасти несправедливой, но понимание того, что неминуемым результатом поражения в войне будет смерть, может оказать сдерживающее воздействие на тех, кто ободряет и направляет подобного рода предприя-

тия, предотвратив же какое-то количество войн, она поможет сохранить жизни нескольких миллионов представителей низших слоев общества. Даже фюрер вроде Мордреда дважды подумает, стоит ли ему раздувать вражду, если будет знать, что в случае неудачи его ожидает казнь.

— Это представляется нам разумным.

— Это не так разумно, как представляется, отчасти и потому, что ответственность за развязывание войн не лежит целиком на одних только вождях. В конце концов, вождя ведь избирают и принимают те, кого он ведет. Гидроголовая масса не так уж и невинна, как она любит изображать. Она развязывает своим генералам руки, стало быть, она и обязана нести моральную ответственность.

— И все же, такая мера могла бы повлиять на вождей, заставив их противиться подданым, подталкивающим их к войне. Уже одно это могло бы помочь.

— Могло бы. Трудность прежде всего в том, чтобы уговорить правящие классы принять подобное соглашение. Кроме того, я боюсь, что всегда отыщется маньяк из тех, кто готов на все, даже на мучительную смерть, лишь бы заработать дурную славу. Эти будут рваться к прелестям

власти с еще пущим пылом, лишь усугубляемым возможностью мелодраматической расплаты. Королей ирландской мифологии их положение обязывало идти в бой впереди своих армий, что и оборачивалось для них жутким уровнем смертности, и однако ни в королях, ни в сражениях история Зеленого Острова недостатка не испытывала.

— А как насчет того новейшего закона, который придумал наш Король? — вдруг поинтересовался козел. — Если частных лиц можно удержать от убийства боязнью смертной казни, то почему бы не установить международного закона, который позволит пободными же средствами удерживать народы от войн? Агрессивная нация может держаться за мир, зная, что если она затеет войну, некая международная полиция приговорит ее к рассеянию посредством, скажем, массовых депортаций в другие страны.

— На то есть два возражения. Во-первых, это будут попытки лечить болезнь, а не предотвратить ее. Во-вторых, мы по опыту знаем, что введение смертной казни убийств на самом деле не прекращает. Однако, и такая мера может оказаться благотворным, пусть и временным шагом в нужном направлении.

Старик засунул, словно китаец, кисти рук в рукава и, ожидая дальнейших вопросов, угрюмо уставился в стол, за которым восседал совет. Глаза его начинали утрачивать присущую им пронзительность.

— Он тут все писал книгу под названием «Libellus Merlini, или Пророчества Мерлина», — ядовито сообщил Архимед, когда стало ясно, что обсуждение прежней темы закончено, — очень хотел почитать ее Вашему Величеству, как только вы появитесь.

— Мы готовы выслушать чтение.

Мерлин всплеснул руками.

— Сир, — сказал он, — это заурядное предсказание судьбы, цыганские штучки, не более того. Я вынужден был ее написать, потому что она наделала много шума в двенадцатом столетии, после чего пропала из виду аж до двадцатого. Но уверяю вас, сир, что это просто салонная игра, не заслуживающая в настоящую минуту внимания Вашего Величества.

— Тем не менее, прочитайте мне какую-либо часть ее.

Пришлось уничиженному ученому, из которого за последний час повыбивали все его софизмы и увертки, снять с каминной решетки обгорелую

рукопись и, как будто он и впрямь приступал к салонной игре, раздать животным по кругу несколько листков, на которых еще можно было что-то разобрать. Один за другим животные начали зачитывать их, словно изречения, извлеченные из праздничных хлопушек, и вот что они прочитали:

— «Бог поможет, — так скажет Додо.»

— «Медведь излечится от головной боли, отрубив себе голову, — но на спине у него сохранится болячка.»

— «Лев возляжет рядом с Орлом и скажет: Наконец-то все твари едины! Но Дьявол поймет соль этой шутки.»

— «Звездам, кои учат Солнце вставать, довлеет к полудню прийти с ним к согласию — или исчезнуть.»

— «Дитя, остановясь на Бродвее, воскликнет: Мама, смотри, вон человек!»

— «А много ли нужно времени, чтобы возвести Иерусалим? — спросит паук, остановившись без сил посреди своей паутины на первом этаже Эмпайр-Стэйт-Билдинг.»

— «Жизненное пространство ведет к пространству для размещения гроба, — заметил Жук.»

— «Сила рождает силу.»

— «Войны сообществ, сторон, стран, вер, континентов, цветов кожи. Затем десница Господня, — если не раньше.»

— «Имитация ( ) прежде действия спасет человечество.»

— «Лось помер оттого, что отрастил слишком большие рога.»

— «Для уничтожения Мамонтов вовсе не обязательно сталкиваться с Луной.»

— «Участь всех видов — их исчезновение как таковых, и в этом их счастье.»

Это изречение заставило зверей призадуматься, и наступило молчание.

— Каково значение пророчества, содержащего греческое слово?

— Сир, часть его значения, но лишь малая часть, такова: единственная надежда людского рода состоит в просвещении без насилия. Конфуций так говорит об этом:

Дабы распространять добродетель в мире, человек должен прежде править в своей стране.

Дабы править в своей стране, человек должен прежде править в своей семье.

Дабы править в своей семье, человек должен прежде, упражняясь в нравственности, научиться править собственным телом.

Дабы править собственным телом, человек должен прежде править собственным разумом.

Дабы править собственным разумом, человек должен прежде быть честным в своих помышлениях.

Дабы быть честным в своих помышлениях, человек должен прежде увеличить свои познания.

— Понятно.

— Есть ли какой-либо смысл во всем остальном? — прибавил Король.

— Ни малейшего.

— Еще один вопрос перед тем, как мы оставим это кресло. Ты сказал, что политические воззрения не имеют касательства к нашей теме, однако они, по-видимому, столь тесно связаны с вопросом о сущности войны, что следует в какой-то мере разобраться и в них. В начале ночи ты объявил себя капиталистом. Ты продолжаешь не этом настаивать?

— Ваше Величество, если я и сказал нечто подобное, я не имел этого в виду. Просто барсук, споря со мной, выступал с позиций коммуниста тысяча девятьсот тридцатых годов, и это заставило меня в видах самозащиты принять на себя роль капиталиста. Подобно любому думающему человеку, я анархист. Говоря же по существу,

человеческому роду по прошествии веков еще предстоит увидеть разительные видоизменения капитализма и коммунизма, благодаря которым они, в конце концов, станут неотличимыми один от другого, приняв обличие демократий, — это же самое, кстати сказать, произойдет и с фашизмом. Однако, как бы не переиначивали себя эти три разновидности коллективизма и сколько бы столетий не истребляли они друг друга по причине присущей им ребяческой раздражительности, факт остается фактом: любые формы коллективизма ошибочны, если исходить из устройства человеческого мозга. Путь человека — это путь индивидуалиста, и в этом смысле у меня имелись основания со всей ответственностью одобрить капитализм, если это можно считать одобрением. Презренный капиталист викторианской эпохи, в значительной мере допускавший свободную игру индивидуальности, в своей политике был, вероятно, в гораздо более точном смысле этого слова футуристичен, чем все Новые Порядки, о которых так много крика стояло в двадцатом веке. Он принадлежал будущему, поскольку индивидуализм — это будущее человеческого мозга. Он не был столь архаичен, сколь фашисты и коммунисты. Но разумеется, и он при всем при том оставался в

значительной степени архаистичным, и именно поэтому я предпочитаю быть анархистом, то есть существом несколько более современным. Если вы помните, гуси тоже анархисты. Они понимают, что нравственные принципы должны исходить изнутри, а не снаружи.

— Я полагал, — жалобно вмешался барсук, — что коммунизм представляет собой шаг в направлении анархии. Я полагал, что при достижении истинного коммунизма государство должно отмереть.

— Слышал я и об этом, да мне что-то не верится. Я не понимаю, как можно раскрепостить личность, создавая первым делом всесильное государство. В природе нет государств, — разве что у чудищ вроде муравьев. Мне кажется, что люди, затевающие строительство государства, — вот как Мордред с его хлыстунами, — эти люди в итоге должны увязать в нем настолько, что избавление от него обратится для них в непосильное дело. Впрочем, не исключено, что сказанное тобою все-таки верно. Хотелось бы надеяться. Во всяком случае, давайте оставим эти сомнительные политические идеи тусклым тиранам, которые их исповедуют. Возможно, через десять тысяч лет, считая от нынешней ночи, для просвещенного

человека и настанет пора заняться подобного рода вопросами, но до того ему лучше обождать, пока род человеческий подрастет. Мы со своей стороны предложили этой ночью решение частной проблемы — проблемы силы, как высшего судии: решение это состоит в той очевидной банальности, что причиной войн является существование национальной собственности, с оговоркой, согласно которой стимулируются войны определенными железами. На этом давайте пока, во имя Божие, и остановимся.

Дрожащей рукой старый волшебник смел свои заметки в сторону. Осуждающие слова, произнесенные ежиком несколько времени назад, больно ранили его, ибо в глубине души он нежно любил своего ученика. Теперь, когда его царственный герой возвратился с победой, сделав правильный выбор, он знал, что мудрость его растрачена не впустую. Знал он и то, что роль наставника сыграна им до конца. Давным-давно он сказал Королю, что тот никогда уже больше не будет Вартом, сказал лишь для того, чтобы подбодрить его, ибо сам нисколько в это не верил. А теперь вот поверил, поняв, что пришла пора и ему уступить свое место, отказаться от власти, позволявшей ему направлять и указывать. Это отречение стоило ему

его всегдашней веселости. Больше он не сможет уже произносить напыщенных речей, приводить людей в оторопь и ослеплять их сверкающими складками своей магической мантии. Высокомерие учености выдохлось в нем. Он чувствовал себя дряхлым и пристыженным.

Старый Король, в котором все детское также сгинуло без следа, сидел за столом, вертя в руках листок бумаги. Размышляя, он обыкновенно наблюдал за своими руками. Он аккуратно складывал листок то так, то этак, затем опять разглаживал. Листок содержал одну из выписок Мерлина, предназначенную для картотеки и по рассеянности засунутую в «Пророчества»: цитату из летописца, которого звали брат Клинн и который умер в 1348 году. Этот монах, назначенный аббатством в хронисты, дабы он вел записи для истории, видел, как приближается Черная Смерть, намереваясь унести его, а быть может и целый мир, ибо она уже убила в Европе третью часть населения. Заботливо вложив несколько чистых листов пергамента в книгу, которую ему больше уже не суждено было заполнять, он завершил ее следующим посланием, некогда вызвавшем в Мерлине странное благоговение: «Видя столь много болящих, — писал он на ла-

тыни, — видя, как мор овладевает всем миром, ожидая среди мертвых, когда смерть придет и за мной, я завершил описание того, что воистину слышал и удостоверил. И если написанному не должно гибнуть вместе с писавшим, а труду исчезать вместе с трудившимся, я оставляю немного листов для его продолжения, — на тот случай, что в будущем обретется среди живых некий муж либо кто иной из рода Адамова, избегнувший нынешней пагубы, и сможет продолжить труды, коим я положил когда-то начало.»

Король тщательно сложил листок и поискал для него места на столе. Члены комитета взирали на Короля, зная, что через минуту он встанет, и готовясь последовать его примеру.

— Ну, что же, — сказал Король. — Мы разрешили нашу задачу.

Он постучал краем сложенного листка по столу и поднялся.

— Нам следует возвратиться до наступления утра.

Поднялись и животные. Они проводили его до двери, стеснились вокруг, целуя Королевскую руку, прощаясь. Его теперь уже отставной учитель, которому предстояло еще доставить Короля назад, придерживал дверь. Был ли он сном или

не был, но он уже начинал легко колыхаться и таять, как и все остальные. Они повторяли:

— Доброй удачи Вашему Величеству, скорого и успешного разрешения ваших дел.

Король отвечал с печальной улыбкой:

— Мы надеемся, что разрешение будет скорым.

Но один из бывших там знал, что говорит он о собственной смерти.

— Так ведь это всего лишь на время, Ваше Величество, — промолвил T. natrix. — Помните историю про Святого Георгия? Homo sapiens и поныне таков. Вас ждет неудача, поскольку убивать — не по злобе, так по неведенью — в человеческой природе. Но неудача — зодчий удачи, и природа потихоньку меняется. Пример достойного человека всегда служит к наущенью невежественных и смиряет присущее им неистовство, — и так мало по малу, век за веком, пока не утихомирятся духи вод. А потому — стойкой отваги Вашему Величеству и спокойного сердца.

Король поклонился знающему и повернулся, чтобы уйти.

Но в последний миг чья-то лапка потянула его за рукав, напомнив про друга, о котором он позабыл. Ухватив ежа подмышки, он поднял его и подержал перед собой на вытянутых руках.

— Ах, ежик, — сказал он. — Нам должно поблагодарить тебя за великую услугу. Прощай, ежик, веселой жизни тебе и сладких песен.

Но ежик, будто велосипедист, заболтал ножками, желая, чтобы его опустили. Очутившись на полу, он опять потянул Короля за рукав, и старик преклонил ухо, чтобы услышать ежиков шепот.

— Нет-нет, — хрипло промолвил ежик, стискивая лапки и серьезно глядя в глаза Королю. — Не говори «прощай».

Он еще раз дернул Короля за рукав, и голос его почти замер.

— Оривор, — прошептал ежик. — Оривор.

20

Ну вот, мы все же и добрались до конца нашего запутанного рассказа.

Артур Английский вернулся к людям, чтобы выполнить, как удастся, свой долг. Он заключил перемирие с Мордредом, решив про себя, что предложит ему половину своего королевства. Сказать по правде, он готов был отдать и все королевство, если это окажется необходимым. Как владения оно давно уже утратило для него всякую ценность, к тому же теперь он знал наверное, что мир важнее королевства. Однако он почитал своим долгом сохранить, по возможности, одну половину и вот по какой причине: если он сможет потрудиться хотя бы над половиной страны, ему, быть может, удастся привнести в нее зачатки того доброго разумения, которому научили его гуси и заседавшие в комитете животные.

Итак, они установили перемирие, и две армии лицом к лицу застыли в боевых порядках. Над каждой реял штандарт, сооруженный из поставленной на колеса корабельной мачты, к верхушке которой был прикреплен коробок,

содержащий освященную гостию, а на самих мачтах развевались знамена с изображениями Дракона и Чертополоха. Рыцари, принявшие сторону Мордреда, облачились в черные доспехи, плюмажи их также были черны, а на предплечьях зловеще светилась кровавого тона розга — значок Мордреда. Выглядели они куда более грозно, чем, может быть, сами себя ощущали. По рядам объявили, что никто не должен выказывать враждебных намерений и что всякому мечу надлежит оставаться в ножнах. Однако, сказано было далее, дабы уберечь себя от предательства, разрешается нападать на противника ради собственного спасения, если во время переговоров будет замечен обнаженный меч.

Артур вышел со своим штабом в прогал между армиями, и Мордред со своими облаченными в черное людьми выступил ему навстречу. Они сошлись, и старый Король снова увидел лицо своего сына, напряженное и осунувшееся. И он тоже, несчастный человек, забрел за край Одиночества и Печали, отыскивая страну Kennaquhair, но вышел он без проводника и сбился с пути.

Ко всеобщему удивлению, они договорились об условиях мира куда скорее, чем можно было надеяться. Король оставил за собою половину

своей державы. Одно мгновение мир и радость провисели на волоске.

Но именно в это мгновение, словно застывшее на острие ножа, ветхий Адам вновь поднял голову, обернувшись к ним новой своей стороной. Феодальные методы ведения войн, бароны-угнетатели, Сильная Рука, даже мятеж на идеологических основаниях, — Королю так или иначе удавалось справиться с ними, но лишь для того, чтобы на последней дистанции потерпеть поражение вследствие пустякового факта, состоящего в том, что человек — инстинктивный убийца.

Рядом с ними, у ног офицера из штаба Мордреда, скользнул в луговой траве уж. Офицер инстинктивно отпрянул, рука его метнулась поперек тела, сверкнув на миг розгою на предплечьи. Блестящий меч полыхнул в воздухе, норовя зарубить так называемую гадюку. И обе армии, решив, что случилась измена, гневно взревели. С обеих сторон опустились и замерли копья. И едва Король Артур метнулся к своим полкам — беловолосый старик, выставивший вперед узловатые длани так, словно он хотел оттолкнуть ими бойцов, до последней минуты противостоящий разливу Силы, которая во всю его жизнь, где бы он ей ни ставил преграды, прорывалась в

новом месте, — едва успел он броситься к ним, как шум и вой поднялись до небес, послышался воинственный клич, и две встречных волны сомкнулись над головой Короля.

Ланселот прибыл слишком поздно. Как он ни спешил, все оказалось напрасно. Он только и смог, что умиротворить страну и похоронить мертвецов. Затем, едва лишь установилось какое-то подобие порядка, Ланселот поспешил к Гвиневере. Предполагали, что она все еще в Лондонском Тауэре, ибо осада, предпринятая Мордредом, не увенчалась успехом.

Однако Гвиневера исчезла.

В ту пору уставы монастырей были не так строги, как ныне. Зачастую монастыри походили более на гостиницы для своих высокородных покровителей. Гвиневера приняла постриг в Эмсбери.

Королева чувствовала, что оба они настрадалась довольно и довольно причинили страданий другим. Она не пожелала ни увидеться со своим старинным любовником, ни обсудить с ним свой шаг. Она сказала, что желает примириться с Богом, и это было неправдой только отчасти.

Бог никогда особенно не занимал ее мыслей. Она неплохо разбиралась в догматах веры, но

и не более того. Правда же состояла в том, что она постарела и обрела мудрость: она знала, что Ланселот относился к Богу с куда большей страстностью, и что для него подобное обращение все равно неизбежно. И потому, ради Ланселота, ради того, чтобы облегчить ему этот шаг, великая Королева отрекалась теперь от того, за что боролась всю свою жизнь, подавая Ланселоту пример и оставаясь в своем выборе неколебимой. Гвиневера сошла со сцены.

Большая часть ее побуждений была Ланселоту ясна, и когда Королева отказалась увидеться с ним, он со стариковской галльской галантностью забрался в Эмсбери по стене. Он подстерег ее, попытался переубедить, но она осталась решительной и непреклонной. Видимо, что-то, увиденное ею в Мордреде, разрушило присущую ей прежде жажду жизни. Они расстались, чтобы никогда уже не встретиться на этой земле.

Аббатиса из Гвиневеры получилась прекрасная. Она правила своей обителью распорядительно, царственно, со своего рода величественным высокомерием. Маленьких учениц монастырской школы растили здесь в духе великой аристократической традиции. Им случалось видеть, как Гвиневера, прямая и величавая, сверкая камени-

ями на пальцах, прогуливается по саду в светлом, тонкого полотна облачении, надушенном вопреки уставу. Послушницы все до единой обожали ее с присущей школьницам пылкостью и шептались о ее прошлом. Она стала Благородной Старой Дамой. Когда она, наконец, почила, ее Ланселот, белоголовый, с изрезанными морщинами щеками, приехал за телом, чтобы отвезти ее к могиле мужа. Там, в этой достославной могиле, ее и похоронили: спокойное царственное лицо ее закрыли крышкой, забили гвоздями и упрятали в землю.

Что же до Ланселота, то он стал затворником ревностным. Вместе с семеркой своих рыцарей он принял постриг в обители близ Гластонбери и посвятил остаток дней монастырскому служению. Артур, Гвиневера, Элейна — всех их не стало, но и призраков, он любил их как прежде. Он молился за них по два раза на дню со всей его так и не узнавшей поражения силой и жил в радостном аскетизме вдали от людей. Он научился даже различать в лесах птичьи песни, ибо теперь у него хватало времени для всего того, чего лишил его дядюшка Скок. Он стал превосходным садовником и достославным святым.

— Ipse, — говорит средневековая поэма о другом старом крестоносце, бывшем в свое время,

подобно Ланселоту, великим властителем, и также, как он, удалившемся от мира:

Ipse post militae cursum temporalis, Illustratus gratia doni spiritualis, Esse Christi cupiens miles specialis, In hac domo monachus factus est claustralis

Он после мирского смятения войн, Исполнившись благодати духовного дара, Пожелал стать ревностным солдатом Христовым И был в сей обители пострижен в монахи.

Более прочих спокойный, милостивый и добрый, Белый, как лебедь, ибо лета его были преклонны, Ласковый, любезный и всеми любимый, Он нес в себе благость Духа Святого.

Часто посещал он Святую Церковь, Радостно выслушивал таинство мессы, Возносил, как только умел, молитвы И обращался мыслями к Славе Небесной.

Его кроткие и шутливые речи, Весьма достохвальные и полные веры, Доставляли всей братии радость, Ибо не был он важен и высокомерен.

И всякий раз, проходя по подворью, Он кланялся братьям направо и налево, И приветствовал, вскидывая голову, вот так, Тех, кого любил особенно нежно.

Hic per claustrum quotiens transient meavit, Hinc

et hinc ad monachos caput inclinavit, Et sic nutu capitis eos salutavit, Quos affectu intimo plurimum amavit.

Когда же пришел и его смертный час, в монастыре этот час сопровождался видениями. Старому аббату приснился неслыханной красоты колокольный звон и ангелы, которые, смеясь от счастья, возносили Ланселота в Небеса. Его нашли в келье мертвым, свершающим третье и последнее из своих чудес. Ибо скончался он среди того, что называют Ароматом Святости. Когда умирает святой, тело его наполняет комнату дивным благоуханием, — то ли свежего сена, то ли весеннего цветения, то ли чистого берега моря.

Эктор произнес над братом прощальное слово, — один из самых трогательных прозаических фрагментов в нашем языке. Он сказал:

— Ах, Ланселот, ты был всему христианскому рыцарству голова. И скажу теперь, сэр Ланселот, когда лежишь ты здесь мертвый, что не было тебе равных среди рыцарей на всей земле. И ты был благороднейшим из рыцарей, когда-либо носивших щит. И был ты для любивших тебя самым верным другом, когда-либо сидевшим верхом на коне. И был ты самым верным возлюбленным изо всех грешных мужей, когда-либо любивших жен-

щину. И самым добрым человеком, когда-либо поднимавшим меч. Ты был собой прекраснейшим изо всех в среде рыцарей и кротчайшим и учтивейшим мужем, когда-либо садившимся за стол вместе с дамами, а для твоего смертельного врага — суровейшим рыцарем, когда-либо сжимавшим в руке копье.

Круглый Стол распался под Солсбери, и малое число уцелевших рыцарей его с каждым днем все уменьшалось. Под конец их осталось лишь четверо: Борс-женоненавистник, Блеоберис, Эктор и Бламур. Старики совершили паломничество в Святую Землю, дабы помолиться за упокой души каждого из своих товарищей, и там, в Страстную Пятницу, они умерли во славу Господа, последние рыцари Круглого Стола. Теперь не осталось ни одного — только рыцари Бани и иных орденов, ничтожных в сравнении.

Участь же Короля Артура Английского, этого нежного сердца и средоточия всего, о чем здесь рассказано, и по нынешний день остается загадочной. Некоторые считают, что он и Мордред поразили один другого мечами. Роберт Торнтонский уведомляет, что некий хирург из Салерно, пользовавший Короля, осмотрев его раны, счел, что ему уже не поправиться, и потому Король

«храбро прочитал In manus, не подымаясь с места, где возлежал… и больше не промолвил ни слова». Те, кто придерживается этой версии, уверяют, что Короля погребли в Гластонбери под камнем, на котором значится: «HIC JACET ARTHURUS REX QUON DAM REXQUE FUTURUS», и что тело его было извлечено из земли Генрихом II, дабы нанести ответный удар валлийскому национализму, — ибо валлийцы уверяли даже, что великий Король вообще не погиб. Они верили, что он еще вернется, чтобы возглавить их, да к тому же еще утверждали, по обыкновению ложно, что Король был по национальности бритт. С другой стороны, Адам Домерхэмский сообщает нам, что раскопки производились в апреле 1278 года, при Эдуарде I, и что он сам при этом присутствовал; в то же время известно, что производились и третьи поиски, тщетные, уже при Эдуарде III, который, кстати, в 1344 году возродил Круглый Стол в качестве серьезного рыцарского ордена, подобного ордену Подвязки. Какова бы ни была подлинная дата раскопок, традиционно считается, что извлеченные из могилы кости принадлежали человеку исполинского роста, и что волосы у Гвиневеры были золотые.

Существует и иной широко распространенный

рассказ, согласно которому компания Королев увезла нашего героя в волшебной барке в долину Авалона. Говорят, что они переправились с ним через Северн в свою страну, дабы там залечить его раны.

Среди итальянцев бытует представление о некоем Артуро Магно, перенесенном на гору Этна, где, как они утверждают, его еще можно увидеть время от времени. Дон Кихот Испанский, весьма ученый джентльмен, хотя и спятивший по причине своей учености, придерживался того мнения, что Артур обратился в ворона, — утверждение, которое, быть может, и не покажется таким уж смехотворным тем, кто прочел наш скромный рассказ. Затем, есть еще ирландцы, которые, смешав Артура с одним из своих Фиц-Джеральдов, твердят, будто он на ранней заре еще скачет с подъятым мечом к Лондондерри-Эйр. Шотландцы, у которых имеется легенда о том, как

Рыцарь Артур
Мчит порою ночной
С копьем золотым
И горящей свечой,

и поныне клянутся его именем в Эдинбурге, где, как они верят, он восседал на Троне Артура.

Бретонцы уверяют, что они иногда слышат его рог и видят, как он скачет в доспехах, — они тоже верят, что он вернется. Напротив, в книге, называемой, «Возвышенная История Святого Грааля», переведенной раздражительным ученым по имени д-р Себастиан Эванс, сказано, будто Артура мирно похоронили в доме молитвы, «что стоит у начала Опасных Болот». Некая мисс Джесси Л. Эстон упоминает о рукописи, которую ей угодно было датировать 1533-м годом, и которая в согласии с «Le Morte d'Arthur» заверяет, что одной из явившихся за ним Королев была никто иная, как престарелая ворожея Моргана, его сводная сестра, и что она увезла его на волшебный остров. Д-р Соммер почитает все это нелепицей. Множество различных мужей, коих звали Вольфрам фон Эшенбах, Ульрих фон Цацикгофен, д-р Вехслер, профессор Циммер, м-р Натт и так далее, либо полностью обходят этот вопрос, либо сохраняют ученое недоумение. Чосер, Спенсер, Шекспир, Мильтон, Вордсворт, Теннисон и множество иных надежных свидетелей согласны в том, что Артур все еще пребывает на земле: Мильтон, правда, склонен считать, что он находится под землей («Arturumque etiam sub terris bella moventem» — «Также и Артур движет свои войска под зем-

лею»), тогда как Теннисон полагает, что он еще посетит нас «в облике современного Джентльмена величавой осанки», — вероятно, похожего на принца-консорта. Вклад же Шекспира состоит в том, что он поместил своего любимого Фальстафа (после кончины оного) в лоно не Авраама, но Артура.

Легенды простонародья прекрасны, странны и определенны. Гервазий Тилберийский, писавший в 1212 году, сообщает, что в пущах Бретани «лесные обитатели рассказывают, будто через день на другой, около полудня или же в полночь, когда луна полна и сияет, они часто видят отряд охотников, каковые в ответ на распросы, говорят, будто они из числа друзей и челядинцев Артура». Это, однако, скорее всего попросту шайки браконьеров— саксов, — вроде людей Робина Вуда, — давших своей ватаге прозвание в честь древнего Короля. Жители Девона привычно показывают среди скал своего побережья «печь и кресло» Артура. В Соммерсетшире имеются две деревушки, называемые Восточный и Западный Камел(от), упоминаемые Леландом, они буквально пропитаны легендами о Короле, и поныне восседающем где-то в своей золотой короне. Следует отметить, что река Айвел, откуда, согласно

Драйтону, «берут начало все наши рыцарские подвиги и отважные деяния», течет по тому же самому графству. Также и приходской священник Южного Кэдбери сообщает о своей пастве: «в народе поговаривают, что в полнолуние Король Артур со своими людьми скачет вкруг холма на подкованных серебром конях и там, где они проезжают, находят серебряные подковы, а объехав холм, они останавливаются, дабы напоить коней из волшебного источника». Наконец, в Корнуолле есть деревушка, называемая Бодмин, жители которой верят, что Король обитает в одном из местных могильных холмов. В 1113 году они даже напали прямо во дворе монастыря на группу монахов из Британии — дело совершенно неслыханное, — позволивших себе усомниться в справедливости их предания. Следует признать, что некоторые из этих дат едва ли согласуются с и без того весьма противоречивой артуровской хронологией, и потому Мэлори, этот великий человек и благороднейший из источников нашего повествования, хранит по данному поводу сдержанное молчание.

Что до меня, то я никак не могу забыть о последнем прощании ежика вместе с намеком Дон Кихота и подземной грезой Мильтона. Это лишь

немногим больше, чем теория, но может быть, обитателям Бодмина стоит осмотреть их могильники, и если среди них найдется один большой, похожий на кротовую кочку, — и особенно если вблизи от него обнаружатся барсучьи следы, — мы сможем прийти к некоторым заключениям. Ибо я склонен верить, что возлюбленный мой Артур грядущего в самую эту минуту сидит в Профессорской Колледжа Жизни среди своих ученых друзей, и все они, напрягая разум, обдумывают, как получше помочь нашему удивительному виду: и я, со своей стороны, уверен, что в некий день, когда не только Англия, но и весь наш мир ощутит в них нужду и окажется готовым прислушаться к доводам разума, — если, конечно, это вообще когда-либо случится, — они в радости и славе выйдут из своего форта, и может быть, вновь принесут нам счастье, рыцарство и старинное средневековое благословение в лице нескольких простых душою людей, которые хотя бы пытались своими скромными силами угомонить древний жестокий сон Атиллы Гунна.

Explicit liber Regis Quondam, graviter et laboriose scriptus inter annos MDCCCCXXXVI et MDCCCCXLII, nationibus in diro bello certantibus. Hic etiam incipit, si forte in futuro homo superstes pestilenciam possit

evadere et opus continuare inceptum, spes Regis Futuri. Ora pro Thoma Malory Equite, discipuloque humili ejus, qui nunc sua sponte libros deponit ut pro specie pugnet.

Здесь завершается книга о Короле Былых Времен, написанная со многими трудами в года с 1936-го по 1942-й, когда народы предавались ужасной войне. Здесь начинается также, — если по счастливой случайности найдется в будущем муж, который переживет эту пагубу и сможет продолжить начатую работу, — надежда на Грядущего Короля. Молитесь за Томаса Мэлори, рыцаря, и за его смиренного ученика, который ныне по собственной воле откладывает в сторону свои книги и уходит сражаться за подобных ему.